

БУЛЬВАР ЦЕЛКАНТУС

Библиотека советской фантастики

АРКАДИЙ ЛЬВОВ





БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

БУЛЬВАР ЦЕЛАКАНТУС

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1967 ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

P2
Л89

Художник Ю. СООСТЕР



ЧЕЛОВЕК С ЧУЖИМИ РУКАМИ

У профессора Валка были странности. Собственно, сам профессор был убежден, что именно у него норма, а странности, или, точнее, аномалии у всех прочих. Под прочими разумелись не только его сотрудники, но и вся та часть человеческого рода, которая имела неосторожность отстаивать привычки, чуждые ему.

Работал профессор только стоя у пюпитра, специально оборудованного для него. «Человек начался тогда, — не-

устанно повторял он, — когда вопреки воле творца ему удалось высвободить верхние конечности, чтобы с этим самым творцом состязаться. Но для чего высвобождать нижние конечности? Чтобы пользоваться задом? Заметьте, подавляющее большинство животных вообще не пользуется им, а остальные — в исключительных случаях. Кстати, поэтому они не страдают почечуем, то бишь геморроем, и малоприятными перебоями в великих актах диссимиляции».

Каждое утро, в шесть пятнадцать Валк собственноручно чистил свой лучший костюм, прежде чем встать у пюпитра. В театр, в гости можно заявиться в любом костюме, объяснял он, от этого никто не пострадает. Напротив, этим вы дадите своим ближним высококалорийную пищу для размышлений вслух. Но работа, труд — Валк держал перед носом оппонента безукоризненно выпрямленный палец — этого не потерпит. Кстати, вспоминал он, Робеспьер, тяжело больной, даже на казнь явился в безупречном костюме, ибо безупречный костюм — это безупречная самодисциплина.

А великий Альберт, возражали ему, ведь он...

Что Альберт Эйнштейн, негодовал профессор, да, он подвязывал брюки веревкой, но когда, скажите мне, когда? Когда работал или тогда, когда принимал гостей? И наконец, взрывался Валк, в мягкой пижаме, в стоптанных туфлях держайте у себя в спальне — пардон, на кухне, — а ко мне извольте при полном параде.

— Как Робеспьер на казнь?

— Вот именно, — хохотал Валк, — на казнь, которая всю вашу жизнь будет откладываться со дня на день.

«Со дня на день, со дня на день», — твердил он, хотя рядом уже никого не было. И так всю жизнь: со дня на день. А утром, в пятницу, двадцать седьмого июня, внезапно пришел день казни: в это утро сын профессора Валка, Альберт Валк из Центральной лаборатории лазеров, лишил-

ся обеих рук. Всю ночь накануне взрыва лаборатория работала.

Валку позвонили в семь, в восемь он уже был в клинике. Сначала он надел нечищенный костюм, но едва захлопнулась дверь лифта, он тут же отворил ее и, поднявшись к себе, привел костюм в идеальный порядок, а затем отправился в клинику. Альберт был без сознания. Профессор снял простыню и сделал шаг назад. Это был очень странный шаг: профессор явно падал, но вместо падения получился шаг назад. Ему подставили стул, но он не сел, он только ухватился за спинку. Это продолжалось двенадцать секунд — так показала видеомagnetная запись.

Но никто, кроме самого профессора, не знал, каковы были его мысли в те двенадцать секунд. Никто не знал, что профессору отчаянно хотелось кричать, никто не знал, что профессор задавил крик чудовищной мыслью об убийстве и самоубийстве, никто не знал, что на двенадцатой секунде профессор решительно сказал себе: Валк, это не твой сын, Валк, ты должен, только ты. И никто не знал, что после этого приказа профессор стал другим человеком, с тем же именем — Александр Валк, — но другим, который уже ничего не боялся, потому что в бесстрашии могло быть спасение.

Через двенадцать часов Альберта Валка перевезли из операционной в палату — теперь у него были, как прежде, две руки. Но останутся ли они его, Альберта Валка, руками?

В двадцать сорок пять профессор вернулся к себе в лабораторию, выпил стакан чаю и встал у пюпитра. «Работать!» — приказал он себе. Но мозг отказывался работать в том направлении, которое выбрал профессор, — власть ритма, заданного операционной, была еще чересчур велика. Хорошо, сказал Валк, значит, надо выключиться, чтобы погасить ритм. Но еще до самовыключения он успел подумать,

как это унижительно, что человек до сих пор находится во власти ритмов, которые задаются извне и дезорганизуют мозг.

— В сущности, — сказал профессор вслух, — в этом главная причина недолговечности человека.

Но тут же, еще раз изумившись поразительной ловкости, с которой мысли, рожденные ритмом дня, овладевают мозгом, он сделал решительное усилие над собой. Теперь он уже не отдавал себе приказов: приказы чересчур насыщены энергией и возбуждают систему. Теперь тело Валка пронизывала аморфная мысль-воля, и с каждой миллисекундой усиливалось ощущение грузности ног, рук, торса, головы.

«Девять», — плавно, бесшумно, как световая волна, пронеслось в руках, лежавших на пюпитре.

Спустя четверть часа, ровно в девять, Валк, развеяв, как он говорил, пепел впечатлений, приступил к работе.

«Решая проблему преодоления биологической несовместимости, — торопливо записывал профессор, — мы не вправе уходить от важнейшего вопроса: как будут вести себя трансплантированные конечности? Иными словами, каковы будут взаимоотношения памяти трансплантированных органов и ампутанта, или, еще точнее, периферической памяти, подключенной к центральной, с которой до пересадки связь ее была нулевой?»

Поставив вопросительный знак, Валк внезапно увидел лицо профессора Даля, своего «дражайшего коллеги», который считал абсолютной чепухой его, Валка, тревоги, ибо сотни экспериментов неопровержимо доказали, что трансплантированные конечности собак и обезьян в новой системе ведут себя вполне прилично. Ну, во всяком случае, достаточно прилично — разве что только «походка и осанка, — Даль при этих словах смеялся оглушительно, как манежный комик, — не совсем из той оперы».

— Именно так, — со скрещенными на груди руками, окаменевшим лицом, на котором двигались только пепельные губы, Валк напоминал статую командора. — Именно так, не совсем из той оперы. И это вдвойне, втройне знаменательно, если учесть, что речь идет об операх, в которых всего-то по дюжине нот. А что же, дорогой Даль, произойдет с человеческой рукой, в которой сотня опер, а в каждой опере сотня тысяч нот!

Но профессор Даль вовсе не намерен был спорить, ибо, говорил он, спорить с блажью бессмысленно, даже если это блажь такого пронизательного исследователя, как Валк. И подобно Катону, он все свои речи, даже о новой оперетке «Марсианки не должны плакать», всегда кончал одной фразой: «А впрочем, никакой автономной памяти у трансплантированных органов нет!» До более обстоятельных возражений профессор Даль не снисходил.

Лицо Даля — мясистый нос, мясистые щеки и мясистые губы в трубочку — не оставляло Валка: оно гримасничало, строило нелепые рожи балаганного зазывалы и под конец, что было уже совершеннейшей чепухой, принялось хрюкать бегемотом. Все это было тем нелепее, что Валк и профессор были друзьями и, кроме того, по части джентльменства Даль мог дать сто очков вперед любому из своих коллег.

— Я устал, — громко сказал Валк, — я должен отдохнуть, чтобы вернуть профессору Далю его человеческое лицо. Хотя у него здорово получается это «хрю-хрю».

Прохрюкав, Валк захохотал, восторгаясь неожиданным талантом своего друга, а потом вдруг сообразил, что хрюкает-то все-таки он, Валк, и приказал себе немедленно успокоиться. «Черт возьми, — изумился он, — какая, однако, только чушь не прозябает в тебе, почтенный мой гомо сапиенс!»

Подойдя к стене, Валк нажал кнопку — пластиковая, под

красное дерево, панель бесшумно поползла вперед; раздвигшись, профессор лег и привычным движением вдел обе стопы в электроды. Эти электроды, тщательно изолированные, были подключены к массивным медным пластинкам, утопленным в земле на три четверти метра. Таким путем шесть часов в сутки Валк в отличие от прочих гомо, не разуваящихся, строго говоря, всю жизнь, получал живительные токи от своей матери Земли.

В кабинете было тихо, как в вакуум-камере. Только ровные глухие удары человеческого сердца дробили эту тишину на секунды, и тишина каплями стекала в пространство.

Но сон не шел, сколько Валк ни приказывал себе спать. Мелькнула мысль о гипногенераторе, хотя Валк не считал себя больным, а употребление искусственных стимуляторов здоровыми людьми полагал чудовищной безнравственностью. Повернув регулятор климатизера до отметки 9 выше нуля, профессор сбросил одеяло и стал терпеливо ждать того легкого озноба, который, по опыту йогов, обязательно активизирует центр сна. Странно, однако, подумал он, что до сих пор никто не опроверг утверждения Мэгуна об активизации в состоянии сна дендритной системы в целом. Ведь совершенно очевидно, что это парадокс, которого природа не потерпела бы.

Засыпая, профессор смутно чувствовал, как удлиняются до бесконечности его ноги и руки, а тело становится крохотным комочком, в котором и гнездится, собственно, его «я». Ничего внушающего тревогу в этих нелепых ощущениях не было. О них говорил еще Дидро, который, кстати, использовал их как доказательство экзогенного* происхождения конечностей. Но ощущение было все-таки крайне неприятно:

* Термин, применяемый к таким частям растений, которые закладываются на поверхности из наружных слоев ткани, например листья, почки на стебле. (Прим. ред.)

нарушая чувство стабильности, оно рождало настроение непрочности и призрачности.

Наконец Валк заснул. Сон был глубокий, без сновидений, без того обычного фона окраинных тревог, который с недавних пор почти не покидал его. Но тем загадочнее был внезапный звонок, который выбросил Валка из сна. Это был очень резкий, пронзительный телефонный звонок, прозвевший не вне, а где-то внутри. Причем — и это удивительнее всего — он с самого начала знал, что звонит не видеотелефон, а именно внутри звонит, хотя по тембру это был звонок видеотелефона.

Через минуту загорелся экран видеотелефона: когда Валк бодрствовал, фотоглаз отключал звонок.

— Извините, профессор, но срочно требуется ваше присутствие.

— Альберт жив? — воскликнул Валк, подойдя вплотную к экрану.

— Альберт жив, — ответила доктор Ягич, и Валк выключил аппарат.

В палате было полутемно — горела синяя лампочка-ночник. Здешний воздух, перенасыщенный кислородом, давал тягостное ощущение специфически больничной чистоты и свежести. Альберт, весь как мумия Тутанхамона, плотно упакованный в белое, казался пришельцем из другого мира, у которого свое, неземное время, свое, неземное лицо. «Может быть, — подумал Валк, — этот другой мир — просто смерть». Но пустые размышления о смерти он считал такой же чудовищной безнравственностью, как употребление здоровыми людьми искусственных стимуляторов, и мысль о ней была погашена, едва оказалась опознанной.

— Почему в палате темно? — умеренный голос профессора прозвучал в ночной тиши больницы как брань. Профессор хотел еще пояснить, что нелепо гасить свет в помеще-

нии, если в этом помещении один только больной — не видящий, не слышащий, не обоняющий, но вместо этого он еще раз повторил свой вопрос: — Почему в палате темно?

Ординатор Ягич немедленно, без слов, включила потолочные плафоны и светильник у изголовья больного, хотя ей очень хотелось напомнить: таков приказ профессора Валка.

Теперь, при ярком, как полуденное солнце, свете, Альберт был уже не пришельцем из другого мира, а обыкновенным землянином, о котором санитары говорят — «он уже почти готовый», а врачи — «сложный, но надо верить».

Отгибая веки, Валк всматривался в зрачки Альберта — маленькие, неподвижные, как глаза мышонка. Пучок света, направленный в зрачок, не вызвал реакции. На стопе и висках пульса не было, нос заострился и приобрел матовую прозрачность воскового муляжа.

Щелкнуло реле: включился электроэнцефалограф. Медленно, как в замедленном кадре, поползла лента восьмидесятиканальной энцефалограммы. Все каналы показывали альфа-ритм, стремящийся к нулю. Ягич хотела предупредить Валка, что все прежние энцефалограммы были не лучше, но доктор уже поднял ворох лент и, рассматривая их, сначала прищурился, как от яркого света, бьющего прямо в глаза, а затем кивнул головой — так, дорогая моя, так.

Теперь самое время было напомнить Валку, что долго в таком состоянии больной оставаться не может, что надо немедленно, пока не поздно, ввести больному стимулятор серамин, иначе — ординатор Ягич задумалась, потому что на ум приходило одно только «экзитус», — иначе можно опоздать.

Но ничего этого Ягич не сказала: пока она блуждала в поисках приличных слов, которые означали бы то же, что «экзитус», но звучали бы менее категорично, профессор Валк неожиданно заговорил сам, спокойно, неторопливо:

— Скажите, Ягич, кто дал человеку право рисковать своими детьми? Обратите внимание, излюбленный мотив древних сказаний — это искупление, как правило, одной ценой: своими детьми. Так вот, не кажется ли вам, доктор, что дети — это самая дорогая цена, которую может заплатить человек, а за тайны, известные одним только богам, платить меньше нельзя? Потрясающий парадокс — смертью за бесмертием!

Потом Валк вдруг вспомнил Эдгара По, «изумительнейшего беллетриста-мыслителя позапрошлого века».

— Это просто непостижимо, — профессор определенно забыл, что свою речь он произносит в больнице, а не в аудитории, — это просто непостижимо, что ни до него, ни после, почти в течение двух веков никто не говорил об исключительной распространенности летаргического сна среди homo. А что такое летаргический сон? Ну, говорите же, что это такое?

Испуганно улыбаясь, доктор Ягич лепетала о мнимой смерти, глубоком сне, панторможении, пока Валк не схватил ее за плечо, крича чуть не в самое ухо:

— Анабиоз, милая моя, элементарнейший анабиоз — вот что такое летаргия! И заметьте, в таком состоянии человек может пребывать годы, если, разумеется, живые и здоровые при этом не поторопятся, подобно невежественным современникам гениальнейшего По.

Только теперь Ягич поняла, что состояние, которое по традиции называли клинической смертью, профессор Валк вызвал у своего сына преднамеренно, что именно поэтому никакого серамина и вообще никаких электро- и биостимуляторов он применять не будет. Но как же это, думала она, ведь он не имеет права на это — он не закончил еще своего эксперимента! Слышите, вы не имеете права, профессор!

Валк улыбнулся:

— Я знаю, доктор, чем занята ваша мысль: вы поносите меня за... бесчеловечность. Так? Отец убивает сына. Увы, доктор, легенды продолжают. Я говорю, легенды, потому что мифов нет — есть только легенды, поэтический экстракт действительности. Эксперимент, милая Ягич, всегда риск. Всегда.

Ягич была бледна, но, странное дело, извечный, еще со студенческой скамьи, страх ее перед профессором Валком прошел, и она очень спокойно объявила ему, что сутки назад, когда он делал операцию своему сыну, она была поражена его мужеством, а теперь, спустя сутки, она опять поражена — его жестокостью.

Да, думал Валк, так она говорит сейчас. А потом, когда будет успех, она скажет, что мужество и проникаемость подсказали профессору единственно верный путь, что только так делается наука. А если будет неудача, она скажет, что профессор Валк убил своего собственного сына, который мог бы сейчас жить почти полноценной жизнью; эту жизнь возвращают ампутированному полимерные протезы.

Остаток ночи профессор провел за пюпитром. Мысль его была ясной и прозрачной, как июльское небо над Эльбрусом, но где-то неподалеку, за невидимыми зубцами гор, собирались грозовые тучи.

— Чепуха, — сказал себе Валк. — Чепуха! Просто, дорогой, в двух-трех клеточках твоего энцефалоса* скопился в избытке адреналинчик. А когда он рассосется, от грозовых тучек и невидимых зубцов останется...

Валк так и не решил, что именно останется, хотя чувство было совершенно определенным — останется не больше, чем от капли жидкого кислорода под горячими лучами солнца.

Но тревога не исчезала, тревога нарастала, сколько он ни

* Мозг. (Прим. ред.)

втолковывал себе, что все дело в избытке адреналина, что предчувствия — это полнейшая чепуха или, на худой конец, просто-напросто элементарное нарушение биохимического баланса в организме. А убедиться в этом очень просто: принять таблеточку анафобина сублингвально, то бишь просто положить под язык, и ждать, пока она рассосется. Через пять минут, когда вернется идеальное равновесие духа, в самую пору идти с голыми руками на льва.

Продолжая писать, Валк потянулся к синему флакону с таблетками, но, едва прикоснувшись к стеклу, он отдернул руку — отдернул поспешнее, чем следовало бы человеку, у которого в перспективе охота с голыми руками на льва. «Ну, это уже черт знает что, — внушал себе Валк, — это уже почти истерика. Никаких таблеток, никаких таблеток, профессор: вы же образованный человек, вы же прекрасно понимаете механизм безотчетного страха. Наконец, природа снабдила вас изумительным рычагом — волей. Вслушайтесь еще раз в это слово: «воля».

Сначала слово звучало отчетливо, звонко, как будто где-то вблизи скандировали его детские голоса, но с каждым всплеском оно становилось все глуше, и непонятно было, то ли оно отступает, то ли теряется в огромных, как океан, волнах. Волны эти обступали Валка со всех сторон, и через мгновение он уже почувствовал, как они понесли его, лишенного тяжести и того специфического ощущения плотности, которое дает мышечное усилие.

Потом пришло самое тягостное: Валка не стало. Точнее, не стало физически, потому что было только некое «я», которое ничего не могло сделать, чтобы собрать воедино то, что прежде было Валком: его руки, его ноги, торс, голову. Это «я», бесплотное, невесомое, потянулось к синему флакону, но внезапно померк свет, и флакон, качнувшись, полетел в пропасть.

Звонок видеотелефона застиг Валка на полу. И как тогда, в прошлый раз, первый сигнал он принял изнутри. Собственно, это был не звонок, а толчок, который тут же перешел в лихорадочный звон.

В комнате было поразительно много света. Поднимаясь, Валк взглянул на часы — четверть восьмого. Едва голова человека оказалась в поле обзора фотоглазка, звуковые сигналы сменились бесшумными световыми. Но видны они были, эти сигналы, только при прямом наблюдении, и Валк подумал, что надо непременно установить вариатор яркости.

Вспыхнул экран. На экране появилась Ягич — усталая, без той специфической утренней серьезности, которая бывает у людей после долгого ночного сна.

— Доброе утро, профессор, это я, ординатор Ягич. Почему вы не включаетесь? Ведь вы уже поднялись.

Прежде чем включить передатчик, Валк направился к гардеробной, где он обычно оставлял на ночь свой костюм. Но, подойдя к двери почти вплотную, он остановился: костюм был на нем — и об этом неопровержимо свидетельствовала его собственная тень — вполне приличная, застегнутая на все пуговицы тень.

— Так, — сказал Валк, включая передатчик, — я слушаю вас.

Ягич очень обстоятельно перечислила все, что произошло ночью после ухода Валка, и Валк убедился, что ничего особенного не произошло, потому что альфа-ритм стабилизировался, а это было самое главное. Слушая своего ординатора, Валк отчаянно боролся с искушением остановить ее и популярно, как говаривали в клинике, объяснить, что уже все сказано и по этой простой причине разумнее всего было бы умолкнуть. Но Ягич не унималась, а Валк в это удивительное июньское утро, когда света, казалось, было вдесятеро больше, чем обычно, нашел в себе мужество не поучать.

Потом Ягич внезапно остановилась и, глядя Валку прямо в глаза, негромко, но с удивительной для нее твердостью сказала:

— Профессор, я не сказала еще самого главного. — Валк улыбнулся, но Ягич не ответила на его улыбку. — Я не сказала, что всю ночь ждала вашего звонка...

— И...

— ...и ждала зря.

— И это самое главное?

— Да, самое главное. Для меня.

Валк терпеливо ждал последних, заключительных слов, ради которых, собственно, она и затеяла весь разговор. И хотя он уже точно представил себе не только слова, но и паузы и интонацию этих слов, они оказались какими-то другими, когда были произнесены вслух:

— У вас железные нервы, профессор. Чересчур железные.

Позже Валк понял, какими именно «другими» они были, эти слова: они были сказаны живым человеческим голосом, и этому живому голосу надо было ответить, объяснить что-то. А что объяснять, собственно? Что у него, профессора Валка, нервы вовсе не железные, что, борясь со страхом, он потерял сознание, что вот только сейчас, за мгновение до звонка, сознание вернулось к нему? Но ведь так или иначе он не стал бы звонить, потому что нельзя погружаться в детали, потому что эти самые детали таковы, что могли бы лишить его твердости в решающий момент.

Стало быть, вот это и следовало объяснить ординатору Ягич, объяснить только для того, чтобы она думала о нем лучше? Но это же ерунда, это же вздор, обыкновенный душеспасительный вздор! И Валк, улыбнувшись, — во всяком случае, сам он был уверен, что улыбнулся, — очень спокойно сказал:

— Спасибо, Ягич. В двенадцать я буду в клинике. При-

готовьте энцефалограммы. До двенадцати меня можно найти в лаборатории.

Выключив передатчик, Валк секунду-другую наблюдал за ней: она смотрела так, как будто по-прежнему перед нею светилось на экране лицо Валка и она хотела увидеть в этом лице что-то такое, после чего все само собою встанет на место.

Странно, думал Валк, очень странно: она убеждена, что помогает истине, на самом же деле ей нужно только одно — уверенность в своей правоте. У нее появилась мысль, и она эту мысль не проверяет, а изыскивает лишь подтверждение ей. Нет, зря он принял ее в клинику: Ягич никогда не станет настоящим ученым. Ученый должен быть своим первым и беспощадным оппонентом. Первым и беспощадным.

Валк повернулся к окну. Опираясь на белую крышу семиэтажного здания лаборатории бионики, солнце слегка покачивалось влево и вправо, следуя за Валком. И он опять удивился обилию света, который был везде, который ниоткуда не появлялся и никуда, казалось, не мог исчезнуть, свету, который не мог иметь своим источником солнце, потому что солнце чересчур локально, чересчур конкретно. «На каком расстоянии от тебя радуга?» — вспомнил вдруг Валк вопрос, который поразил его в детстве. Собственно, поразил его не столько вопрос, сколько ответ, который гласил: сто пятьдесят миллионов километров. Сначала это казалось абсурдным — радуга на уровне солнца! Та самая радуга, которую он видит в десяти шагах от себя в струях фонтана. Но тут же он представил себе солнце, отраженное в зеркале, в полутораста миллионах километров от поверхности стекла. И все вроде бы встало на свое место. И все-таки полного ощущения достоверности тогда не было. А теперь? Пожалуй, не было его и теперь. Валк вздохнул: ощущения опережают мысль, а нужно, чтобы они по меньшей мере были синхрон-

ны, и тогда предрассудков будет вдесятеро меньше. Педагогика еще не стала наукой: педагогика по-прежнему виснет на хвосте у очевидного.

Но откуда же так много света? И почему моя мысль юлит? Она бережет меня, она бережет меня потому, что этого требует от нее нечто заключенное во мне, в моем гипоталамусе *, что лучше меня знает о моих нуждах. Но это же вздор, потому что все это — я! Я должен быть хозяином себе, я не могу позволить, чтобы это нечто из гипоталамуса играло со мной в кошки-мышки.

Отойдя от окна, Валк на мгновение замер, а затем решительно шагнул к пюпитру, который стоял в северном, самом темном углу комнаты. Но и здесь он не мог избавиться от этого ощущения совершенно фантастической, прямо-таки ослепляющей яркости. Лист бумаги, лежавший перед ним, утомлял глаза своей отчаянной белизной, и Валк глядел на него, щурясь, как в детстве, когда он считал постыдным уклониться от солнечного луча, посланного прямо ему в глаза зеркалом товарища.

Но самое удивительное — это мучительное ощущение не было неприятным. Напротив, оно было явно сродни тем гипнотическим воспоминаниям давно прошедших детских лет, которые пронизывают человека мгновенно, точно комета, оставляя где-то чуть повыше глаз темный после яркой вспышки след и долго не проходящее чувство грусти и быстротечности.

Валк вздохнул: мы еще чересчур поэты! Ничто для нас не существует вне эмоций. «Дорогой коллега, ваша великолепная гипотеза доставила мне эстетическое наслаждение!» Ах, как прелестно! Как прелестно, прямо как белокурое дитя с синими, в полнеба, глазками!

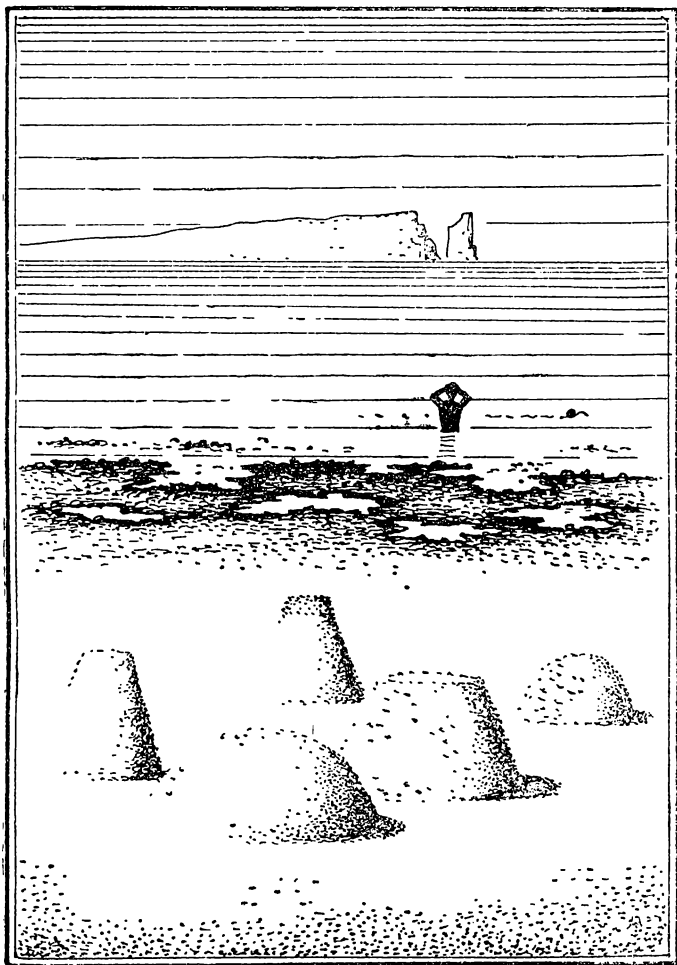
* Часть головного мозга, расположенная под зрительными буграми. (Прим. ред.)

Будь то лет на десять раньше, Валк наверняка прошелся бы кулаком по пюпитру. Но увы, и это ведь не что иное, как эмоции, которые лишь изредка проясняют мысль и почти всегда нелепо, кричаще расцвечивают ее. Гнев, страх, ярость, злоба нужны были животному — они помогали ему мобилизоваться. А гомо разумному они только помеха, только вредный атавизм: коронароспазм разрушает систему. А гнев — это всегда спазм. Почти всегда.

Опершись о пюпитр, Валк стоял неподвижно, тяжело, с плотно закрытыми глазами. Грандиозный белый город — белые дома, белые с белыми и блестящими, как тальк, листьями деревья, белые тротуары и мостовые — млея под полуденным солнцем. К северу, западу и востоку от него лежали белые, как закипающая известь, пески Руб-эль-Хали, к югу — белесые воды Индийского океана, замершие, как мраморные пряди волос на головах античных эллинов и римлян.

И Валк почувствовал, как медленно, но неуклонно тяжесть сцепления покидает его тело, как становится легко и радость, которая однажды уже была, вновь возвращается после невероятно долгого отсутствия.

Только двое — он и его сын Альберт — были тогда на берегу: Альберту минуло десять лет, и всюду, где можно, он строил города. Белые города. Он никогда не мог объяснить, почему именно белые, но после смерти матери он строил только белые города. И в этих городах все было белым, даже деревья, даже листья на деревьях. Тогда, на берегу океана, профессор Валк, человек с железными нервами, после двух лет гнетущей скорби заново познал радость. Кажется, он плакал даже. Во всяком случае, потом, когда они перебрались на яхту, сын сказал ему: «Папа, у тебя слезы». — «Это от ветра», — объяснил он Альберту, и мальчик кивнул головой: да, от ветра.



Должно быть, это был самый большой день в жизни Валка: он увидел в этот день нового человека, пронзительного и мудрого, с раскрытыми настежь глазами, и этим человеком был его сын. «Мой сын, мой сын», — твердил про себя Валк, и все эпитеты — ласковые, величальные, сокровенные — блекли подле этих двух слов.

Потом несколько лет кряду Валком овладевал циклами страх: он мысленно взбирался по отвесным ледяным кручам Памира, осваивал ледники, спускался по тросу в ущелья и приземлялся с парашютом в таежных дебрях, куда иным путем пробраться было невозможно. Одним словом, не покидая лаборатории, он проделывал с сыном обязательный комплекс юного альпиниста.

Иногда Валку казалось, что следовало, пожалуй, предпочесть комплекс юного морехода или аэронавта, но мысль эта немедленно разоблачалась — везде есть свои волчьи ямы, и, как обычно, виднее, разумеется, те, которые встречаются на твоём пути, а не те, которые могли бы встретиться. Увы, студенческая психология владеет человеком всю жизнь: ближайший экзамен — всегда самый трудный экзамен.

Позже, когда Альберт стал студентом института лазеров, опасения и страхи оставили Валка. Впрочем, возможно, дело было просто в неизменном благополучии.

И вот в один миг не стало благополучия: Альберт в клинике регенерации и трансплантации, его сын Альберт. В белом, весь в белом, словно призрак из беззвездных ночей средневековья, словно мумия из загадочного мира, огражденного от тлена, Альберт недвижим, Альберт безучастен, Альберт не может повторить полутысячелетней давности слова геометра-мудреца *cogito, ergo sum**.

Какая-то чудовищная нить раскалялась с непостижимой

* Мыслю — значит существую (латин.).

быстротой. Она была над головой, над теменем Валка, и погасить ее можно было только мгновенным сверхусилием. Сначала человек собрался в точку, точка стремительно тяжелела, но тяжесть прибывала не извне, а изнутри. Откуда изнутри? Впоследствии Валк не мог дать определенного объяснения этому феномену. Во всяком случае, мысль о сгущенной, материализованной воле не казалась ему вздорной. Но как бы то ни было, когда вернулось привычное восприятие пространства и тело обрело нормальные размеры, Валк почувствовал огромную усталость и ломотную, ноющую боль, особенно в плечах и груди. И вместе с этой болью пришел покой, пришло чувство освобождения и уверенности. Уверенность была беспредметной, но Валк явственно ощущал, что от него одного зависит дальнейшая судьба этой уверенности и он может придать ей любое направление.

Это чувство немеркнувшей уверенности сохраняло предельно четкую стабильность вплоть до того самого дня, двадцать восьмого июля, когда Валк решил, что пора вернуть Альберту сознание. Почему именно двадцать восьмого? Дать вразумительный ответ на этот вопрос Валк не мог ни себе, ни другим. Ягич в этот день смотрела на него своими огромными зелеными глазами, и добро, было бы в них осуждение, недовольство, негодование — нет, ничего такого не было. Было только одно: ожидание неотвратимого бедствия, но неотвратимого в той мере, которая человеку уже не подвластна.

В полдень звонил Даль. Валк не сомневался, что звонком своего «дражайшего коллеги» он целиком обязан Ягич, которая, видимо, убедила себя, что лучше все-таки действие, пусть даже бесполезное, чем вообще никакого действия. И странное дело, хотя разговор с Далем был сейчас явно некстати, чтобы не сказать больше, Валк не сделал ординатору Ягич внушения за самочинность. Больше того, он даже

передал ей содержание разговора, основной приметой которого, по его собственному определению, было полнейшее отсутствие информации. Даль говорил об ответственности медика, и Валк поблагодарил его за свежую и оригинальную мысль, которую в последний раз слышал всего лет десять назад в интерпретации выпускника средней школы, трижды провалившегося на вступительном экзамене. Даль, в свою очередь, поблагодарил Валка за исключительно насыщенную информацию об интуиции, которую еще в прошлом, XX, веке некий философ-обществовед определил как инвариант знаменитой проблемы схоластики «Сколько чертей может уместиться на конце иголки?».

Ягич слушала очень внимательно. Но Валка не оставляла мысль, что в поле этого ее внимания не разговор его с Далем, а сам он, Валк. Это было неприятно, и он прямо сказал:

— Доктор, вы не слушаете меня.

— Да, — ответила она машинально, — я слушаю вас.

— Черт возьми, — рассвирепел Валк, — я же говорю, что вы слышите меня не хуже, чем дежурный по станции Селена-32.

Ягич извинилась, и то, что она извинилась, а не замкнулась, как обычно, когда отваживалась на некий полупротест, на мгновение озадачило Валка. Значит, лихорадочно соображал он, есть во мне сегодня нечто... нечто пробуждающее милосердие. Отвратительное слово! Но бояться чувства и при этом еще бояться его словесного символа — это попросту нагромождать трусость на трусость. Нет, так далеко Валк никогда не заходил. И не зайдет.

Ну что ж, милосердие так милосердие!

— Послушайте, — вдруг воскликнул Валк, — а ведь Даль прав: мы по-прежнему ни черта не знаем об интуиции! Кибернетика еще в зеленом детстве своем окунулась в сказоч-

ное царство интуиции. И вот до сих пор в этом царстве не нашли ни кола ни двора. А что, если и царства-то никакого нет?

Странно, а ведь она испугалась, эта Ягич. Побледнела даже, и глаза ее от этой бледности стали вдвое больше. И теперь в них не испуг уже, а страх, самый доподлинный страх.

— Но вы же верите, вы же знаете, что интуиция есть. Вы-то не сомневаетесь...

Интонация ее постепенно сходила на нет, и последние два слова прозвучали почти как мольба, как вопрос, на который возможен был только один ответ: да, не сомневаюсь.

— Да, — сказал Валк, — не сомневаюсь. — И тут же зачем-то добавил: — Но наука не религия, одной веры здесь бывает недостаточно.

— Да, — подтвердила Ягич, — недостаточно. Недостаточно для тех, кто лишен интуиции.

Валк от неожиданности стал массировать свой нос: вот так антраша — секунду назад она спрашивала милостыню, а теперь сама выступает благодетельницей! Нет, пожалуй, она все-таки не совсем безнадежна. Черт возьми, будем мы когда-нибудь толком знать своего ближнего? Наука говорит: да. Но при этом надо бы, наверное, добавить: если она сама будет закладывать в человека программу.

— Да, — решительно заявил Валк, — я верю, я убежден в существовании интуиции, как... — Валк на мгновение запнулся, — как убежден в том, что вы не автомат, а человек.

Ягич улыбнулась: профессор удостоил ее сейчас большого комплимента. Пожалуй, самого большого.

Валком овладело минутное сомнение: а не рассказать ли Ягич все, что думал о ней сейчас он, ее шеф, ее железный шеф? Впрочем, нет, не стоит: ведь она и без того поняла

все, а попусту ковыряться в эмоциях — только ослаблять себя.

Прозрачные кварцитовые стены, пропуская солнечный свет, окрашивали палату Альберта золотистым колером ранней осени. Валк всегда отдавал предпочтение именно этому цвету — мягкому, теплomu, ненавязчивому. Кстати, весь древний Египет до нашествия персов и Месопотамия представлялись ему именно такими золотистыми землями. Передний Восток был такой же золотистый но, кроме того, там было еще много лазури, и поэтому он был холоднее и отрешеннее.

Подойдя к Альберту, Валк внезапно почувствовал тот же страх, что тогда, накануне операции, когда он должен был полностью подчинить себя надличному, чтобы сохранить способность к действию. Но сегодня он уже не мог отрешиться от своего сына, сегодня легенды древних об отцах и детях должны были обрести первозданную свою силу, и Валк вдруг с потрясающей остротой ощутил, что истинные жертвы не сыновья, а отцы.

Доверял ли Валк своей интуиции сполна? Да, доверял. Но где-то в глубинах его сознания всегда тлело сомнение, порожденное неограниченной верой в логос. И хотя не только история, но и личный опыт многократно убеждали Валка, что и наука подводит, он неизменно твердил, что подводит не наука, а невежество. Если же ему напоминали, что ложные знания всегда соседствуют с истинными и не во власти человека сразу отделить одни от других, он отвечал: «Вот тогда я и обращаюсь к интуиции, которая, увы, не знает такой великолепной категории, как надежность».

Ягич не спрашивала, сколько времени понадобится для пробуждения Альберта, — в экспериментах с животными Валк придерживался железного правила: длительность полного погружения в анабиоз и длительность пробуждения

должны быть тождественны. И когда Валк предупредил ее, что полное пробуждение пациента — он так и сказал: пациента — придет к исходу вторых суток, она испуганно прошептала:

— Так долго? Почему?

— Но это вовсе не долго! — внезапно озлился Валк. — У этого пациента, как вы догадываетесь, не обезьяний, а человеческий cerebrum. А это, как говаривали в старину, две большие разницы.

— Да, — сказала Ягич, — вы правильно предположили, профессор: я действительно догадывалась, что у этого пациента человеческий мозг. И между прочим, у меня тоже.

Она хотела еще объяснить, что просто ее беспокоил этот откровенно голый эмпиризм, хотя, в сущности, ничего иного она сама предложить не может, но Валк уже смеялся и, взяв ее под локоть, проникновенно пообещал:

— Коллега, я учту это. То есть то, что вы заметили между прочим.

Теперь, собственно, уже нечего было объяснять, и, пожалуй, даже лучше, что разговор сложился именно так: наконец у Ягич отлегло от сердца. Строго говоря, шутка не очень серьезное основание для душевного облегчения, но, если у тебя сняли камень с сердца, стоит ли упорствовать и водружать его на прежнее место? Еще недавно, лет сто назад, добровольное самоистязание — его называли тогда как-то иначе — считалось признаком высокого гражданского мужества, и, как это ни парадоксально, люди меньше всего интересовались при этом материальным кпд, заботясь лишь о так называемом нравственном кпд. Но и тогда, хотя была разработана специальная шкала — кодекс морального кпд, поставить учет этих функций на подлинно научную основу так и не удалось: они не поддавались математической обработке. А теперь, спустя целое столетие, они изъяты из обра-

щения самим временем. И все-таки как трудно даже сегодня отделаться от этих бесполезных функций!

— Не томите себя попусту, — неожиданно произнес Валк.

Ягич покраснела — как всегда, когда Валк внезапно демонстрировал свое ясновидение на материале ее «я». В таких случаях ей мучительно хотелось парировать выпад профессора неотразимой и откровенной колкостью, но нужные слова приходили с большим опозданием. Чересчур большим.

Однако сегодня — может быть, впервые — мстительное чувство не захлестнуло ординатора Ягич; сегодня — может быть, впервые — она с предельной ясностью осознала, что, подтрунивая над ней, Валк зачастую освобождает ее от истинного бремени.

Наклонившись над Альбертом, Валк подключал к его голове, позвоночнику, рукам, ногам датчики электроэнцефалографа и электробиостимулятора. Когда подключение было закончено, Альберт напоминал Гулливера в Лилипутии, прикрепленного тысячами нитей к своему ложу.

Лицо Альберта было безжизненно. Точнее, это было лицо покойника, о котором говорят: он как будто спит. И всякий раз, глядя на Альберта, Ягич должна была вспоминать показания приборов, чтобы увидеть в нем не покойника, который «будто спит», а действительно живого человека, погруженного во временный сон.

Было ли такое же чувство у Валка? Ягич почему-то не решалась спросить об этом. Но вчера, когда они стояли у койки Альберта, Валк перехватил ее взгляд — отчужденный взгляд живого, обращенный на уснувшего, — и сказал:

— Я знаю, что он жив. Я понимаю, что он жив.

Ягич молчала. Да и что, собственно, было говорить, что она понимает, как тяжело отцу? Но эти слова не для Валка. Да и вообще для кого они, эти слова!

Теперь оставалось одно — ждать. И то, что при этом надо было еще следить за электростимулятором, за энцефалоскопом, не меняло главного — вот этой необходимости терпеливо ждать пробуждения Альберта.

С точностью хронометра Валк через каждые шесть часов требовал информации, и, так как заранее нельзя было определить, где следует его искать через ближайшие четверть суток, он сам вызывал клинику.

В первый раз, пока Ягич передавала информацию, голова ее с опущенными, как при чтении, веками монотонно покачивалась в такт словам, оставляя свободными только уголки экрана. Валк с трудом дождался окончания доклада, и, едва она отстоялась, он спросил: не хотела бы она показать пациента, и вообще, не кажется ли ей, что ему полезнее было бы видеть при докладе самого пациента, а не голову ординатора. Особенно, поспешил пояснить Валк, если учесть, что он нисколько не сомневается в добросовестности и объективности ординатора.

От неожиданности и карикатурной корректности этого выговора Ягич ухватилась за спинку стула — позже она уверяла себя, что сделала это вовсе не в испуге, а просто потому, что стул был единственным тяжелым предметом, стоявшим поблизости, — но спустя секунду, понадобившуюся для произвольного движения руки, она, глядя Валку прямо в глаза, неторопливо, с чеканными, как на уроках дикции, паузами объяснила:

— Да, профессор, я думаю, так будет полезнее. И не только для вас.

— Конечно, — неожиданно покорно согласился Валк, и почти тотчас у Ягич мелькнула странная мысль о робости, которая порою делает человека ненужно желчным. Вот как ее, к примеру, с минуту назад.

Валк долго и напряженно всматривался в лицо Альберта.

У него были странные глаза, у Валка, — это были глаза времени, которое остановилось, это были глаза времени, для которого нет ни прошлого, ни будущего. Ягич, оставаясь за экраном, смотрела в эти глаза, которые видели не только ту часть мира, что была слева, справа и впереди, но и ту, что простиралась сзади, и от этого чудовищного ощущения всеобъемлемости лихорадило ее, как в страхе. «Отвернуться, отвернуться!» — приказывала она себе, но чем категоричнее были приказы, тем упорнее было сопротивление. И вдруг она почувствовала, что эти глаза, огромные глаза времени, обращены на нее.

Это продолжалось не дольше секунды, экран немедленно погас, но и после того она еще долго ощущала себя крошечной и пульсирующей, как звезда, подвешенная в черном небе космоса.

Затем, когда это ощущение прошло, ею овладело тягостное чувство неловкости, тем более тягостное, что поразительно напоминало то, которое бывает у человека, невзначай подсмотревшего чужую тайну. Ей почему-то захотелось непременно объясниться с Валком и убедить его, что она ни в чем не виновата, что все случилось само собой, что она случайно оказалась свидетельницей ТОГО. Она так и говорила про себя — ТО, как о чем-то безликом, у чего нет и не может быть имени.

Спустя шесть часов Валк позвонил, и теперь, уже не мешкая, она взяла в рамку Альберта. Профессор внимательно осматривал пациента, трижды просил дать крупным — самым крупным — планом глаза и ноздри, но в общем это был тривиальный профессорский осмотр. Только к концу сеанса, когда, несмотря на усиление магнитного поля, энцефалограммы оставались неизменными, у Валка в глазах на мгновение появилось ТО. Но через минуту кривая альфа-ритма стала явно круче, и он улыбнулся. Ягич, невидимая, тоже

улыбнулась: щемящее чувство беспредельного, едва забрезжив, погасло в ней.

Тридцатого июля в семнадцать двадцать приборы зарегистрировали полное пробуждение Альберта, хотя глаза его оставались закрытыми. Ошибка профессора Валка составила + 20 минут.

Валк сидел на стуле, слева от койки, уложив расправленные кисти на колени. Ягич стояла у западной стены, прижимаясь к ней спиной и открытыми ладонями вытянутых до отказа рук. Валк напомнил ей, что можно бы принять более удобную позу, она улыбнулась, кивнула головой — да, профессор, — но позу не переменила.

Через десять минут Альберт открыл глаза — открыл после того, как Валк сказал ему:

— Альберт, ты уже проснулся.

Июльское солнце, даже вечернее, было невыносимо ярким. Альберт зажмурил глаза. Не дожидаясь сигнала, Ягич торопливо нажала кнопку — дымчатый светофильтр обложил западную и южную стены, восточная оставалась свободной, но палата погрузилась в поздние июльские сумерки, когда у неба остается одна краска — синяя с чернотой.

— Норма,— сказал Валк.— Можешь открыть глаза. Ты хорошо меня слышишь?

Альберт прикрыл веки: да, слышу.

— Ты помнишь, что с тобой произошло?

Альберт задумался, глаза его беспокойно шарили по дымчатой стене и, наконец, остановились на синем диске солнца.

— Взрыв. В лаборатории, — прошептал он.

— Ты помнишь еще что-нибудь? — Голос Валка был звонок и чист, как голос шефа, отдающего приказы по селектору.

Альберт молчал, глаза его уже не бегали по стене — они были прикованы к синему солнцу. Огромная, как на центрифуге, сила прижимала Ягич к стене, и она чувствовала себя тяжелой и расплющенной, словно стальной брус, схваченный гигантским магнитом.

Валк ждал. Кисти его по-прежнему лежали на коленях, бесстрастные, как у Рамзеса II в нубийском камне.

— Нет, больше ничего.

Так, кивнул профессор и, подавшись вперед, оживил, наконец, каменные кисти фараона.

— Альберт, у тебя повреждены руки. Да, обе руки, серьезно. Нет, нет, сын, ничего катастрофического — тебе сделали операцию, ты будешь работать... ты будешь работать, как прежде. А это твой доктор, наш ординатор Кора Ягич. Сейчас она немного взволнована. Как это писали беллетристы в прошлом веке, когда героиня обращала на путь трудовой доблести своего возлюбленного, дотоле бездельника и лоботряса? «На глазах у нее стояли слезы, но это были слезы радости, слезы большого счастья».

— Извините, профессор, — неожиданно возразила Ягич, — но в середине прошлого века так уже не писали. Во всяком случае, те, кто так писал, уже тогда не считались беллетристами.

Альберт улыбнулся, а Валк поспешно запротестовал:

— Коллега, вы украшаете историю. А это непростительный грех! У майя, вы помните работы Кнорозова, историков, уличенных в фальсификации, карали смертью. Боюсь, мне придется быть не в меру жестоким, хотя мне понятно ваше стремление говорить о предках только хорошо. Но мы не имеем права забывать, коллега: правда — это информация о мире действительном, реальном; ложь — информация о мире вымышленном. Ложь в истории и философии — классический инвариант религии.

— Сдаюсь, профессор, — решительно объявила Ягич. — Я привыкла к своей голове, и мне было бы неуютно без нее. Как вам... без вашей.

Валк сощурил глаза. Впрочем, возможно, это только показалось ей, что он сощурил глаза. Но в лаборатории, когда они остались наедине, она сказала:

— А ведь у майя вам бы не сносить головы, профессор!

И Валк опять сощурил глаза, бросая слова отрывисто, как всегда, в раздражении:

— Это разные вещи, доктор! Я не лгал своему сыну, я не оберегал его душевный покой. Я не говорил ему об ампутации и пересадке, потому что этого требовала чистота эксперимента. Его сознание не должно быть поработщено мыслью, что две теперешние руки его принадлежали прежде другому человеку.

— Но как вы скроете это от него? Ведь он увидит их, когда придет... если придет... время действовать ими.

— Увидит не раньше, чем это позволю ему я: он будет носить пластиковые чехлы на поврежденных руках ровно столько, сколько понадобится. Имейте в виду, доктор: на поврежденных, а не трансплантированных!

Здорово говоря, логика профессора Валка была безукоризненной с любой точки зрения: чем меньше больной знает о своей болезни, тем лучше для него же; чем полнее неведение объекта эксперимента, тем чище эксперимент. В чем же дело? Почему же ее, Ягич, не покидает отвратительное чувство вины? Ведь всем хорошо: и больному, и эксперименту, и Валку, и науке. Но если бы все они — и больной, и эксперимент, и Валк — знали, как трудно ей смотреть в глаза Альберту! Как одолевает ее желание рассказать ему всю правду, чтобы устранить это оскорбительное... Ах, вот оно наконец: оскорбительное чувство подопытности! Оскорбительное и унижительное! Хотя какое же, собственно, чувст-

во подопытности может томить его, если именно он ничего не знает? Ведь Альберт прямо сказал, что ничего, кроме взрыва в лаборатории, не помнит.

Но это теперь. Хорошо, теперь так: он ничего не помнит. Ну, а потом? Что будет потом, когда он узнает всю правду? Что она скажет ему? «Профессор приказал мне считать вас кроликом, и я не могла послушаться»? Но это же вздор! У нее есть своя воля, у нее должны быть свои убеждения. Вот именно — свои.

Длиннейшая цепь ассоциаций и силлогизмов увела Ягич в то далекое время, когда людям казалось, что неограниченное право на убеждения и личная реализация этого права — само собою разумеющийся двуединый комплекс. Но как они заблуждались! Они и не подозревали, какого мужества, какой ясности мысли требует оно постоянно от человека, это право. Всеобщее право, которое стало, по существу, всеобщей обязанностью.

Пятый пункт только что опубликованного кодекса медицинской этики предписывал ординатору Ягич отказаться от работы над проблемой, изначально или в процессе разрешения пришедшей в конфликт с ее убеждениями. Для сложных случаев существовал детектор подавленных реакций, но практически к нему не прибегали: самостоятельное разрешение внутреннего конфликта считалось не только целью, но и важнейшим средством самовоспитания, основанного на самопознании.

Разумеется, Ягич могла откровенно рассказать обо всем Валку и потребовать у него, как шефа, помощи в разрешении конфликта. Но ведь это был путь, этически допустимый при одном существенном условии: она противопоставляет объективным тезисам Валка такие же объективные антитезисы, а не субъективную лирику взволнованной девушки, по имени Кора, Кора Ягич.

Особенно скверно бывало к вечеру. Возможно, это было просто от усталости, а может, от мягких красок заката, когда хочется, чтобы все было хорошо. По-настоящему хорошо — без обмана или забвения. Но так или иначе вечерами она не могла смотреть в глаза Альберта — настежь открытые глаза, не помутненные настороженностью и недоверием.

На третий день утром Валк внезапно напомнил ей о пятом пункте кодекса. Ягич побледнела. Валк отвернулся, отвернулся демонстративно, не скрывая, что дает ей просто передышку.

Теперь уже нельзя было не ответить. Теперь непременно надо было ответить. Но как? Ягич лихорадочно перебирала варианты: сказать, что он заблуждается, что пятый пункт ни при чем? А детектор? Вот как! Значит, она боится только детектора, а не будь его... Нет, нет, это не ее мысль, чья угодно, только не ее! Может, просить о помощи? Но разве она уже исчерпала себя, разве она не властна над собой? Нет, она не исчерпала себя, но ее одолевают сомнения. Но разве нельзя работать сомневаясь?

— Нет, — очень спокойно произнес Валк, и она опять увидела эти чужие глаза — глаза времени. — Нет. Мы лечим не роботов, а людей. Ваш скепсис, или, если предпочитаете, неполная вера, заражает пациента. А пациент, вспомните латынь, — это страдающий. Так вправе ли мы еще увеличивать его страдания?

Это был не вопрос, это был категорический ответ, хотя Валк ни на пол-октавы не повысил голоса.

А муки здоровых, мелькнуло у нее, увеличивать муки здоровых можно?

— У постели больного врач не думает о себе. Он думает только о пациенте, о страждущем, иначе он не врач. — Валк неожиданно улыбнулся. — Кстати, доктор, я не теле-

пат, но логика и опыт бывают так же беззащитно проницательны, как телепатия.

Да, все это так, все это она уже тысячу раз слышала на его же, Валка, лекциях. Но что же отсюда следует — что она должна уйти? Но ведь она не может уйти, как он не понимает!

Склонившись над анестезиометром, Валк пристально рассматривал контакты. Изредка он покачивал головой, и у Ягич появлялось нелепое ощущение, что это он отвечает ей, так синхронны были эти его движения и ее силлогистические циклы.

Трижды она возвращалась к его аргументу: «Я не оберегал душевный покой своего сына, я не говорил ему об ампутации и пересадке потому лишь, что этого требовала чистота эксперимента», — и трижды опускала его: в этом аргументе была только видимость пренебрежения к больному, вызванная смещением логического акцента.

Значит, истинным побуждением его была забота о сыне? Значит, именно она, шокированная мнимой поправностью человеческого достоинства Альберта, норовит восстановить это достоинство ценой огромного бремени, возложенного опять-таки на него, Альберта? А она... она таким путем избавится от внутренней смуты? Стало быть, она заботится о себе, стало быть, элементарный эгоизм...

— Не тираньте себя, Ягич, — Валк резко, по-юношески выпрямился над анестезиометром, который только что был ему прикрытием. — Логика, избыточно окрашенная эмоциями, коварна. Не эгоизм управлял вами. Это не эгоизм, когда человек ставит себя на место другого, чтобы понять его страдания. Но это может стать эгоизмом, если руководствоваться не логикой, а исключительно заботами о безупречности своей совести. Скажите пораженному инфарктом, что он обречен, и он поверит вам, хотя не исключено, что

он мог бы остаться в живых. Но вы сказали ему правду — и совесть баша чиста. Не так ли?

Нет, хотелось крикнуть Ягич, не так! Это все разное: здесь лечение, только лечение, а там — эксперимент, помимо воли человека, без его согласия! Как он не понимает, что эксперимент над человеком без его ведома — насилие! Ведь это ясно как день, и она докажет ему, профессору Валку...

— Зря трудитесь, доктор,— Валк глядел на нее в упор, будто хотел высмотреть то, что так долго оставалось незамеченным, — никакого насилия нет: мой сын доверяет мне сполна, и карт-бланш он выдаст мне без колебаний. Но кому нужно это жеманничанье с совестью? Разве не понятно, что в этот чистый бланк я все равно вынужден вписать то, что до поры до времени должно остаться неизвестным тому, кто подписал его? Карт-бланш — это всего лишь доверие ко мне или к вам, а не санкция конкретного нашего действия. Узнать же конкретно волю Альберта и при этом оставить его в неведении, которого требует наука, невозможно. Иги — или, Ягич, а совмещать такие явления не дано никому. Даже богу, который подчинив вселенную твердым и неизменным законам, сам стал рядовым гражданином этой вселенной. Гражданин Господы! Гражданин Всевышний! Гражданин Вседержитель!

Закончив монолог, Валк расхохотался и, хлопая Ягич по плечу, требовал оваций по поводу своей поэтической находки.

Досаднее всего, что и она, Ягич, заразилась этим хохотом, который мешал ей сосредоточиться, мешал продвинуть мысль в направлении, уже в предчувствии сулившем ясное, твердое решение. Но самое нелепое пришло потом, когда Валк вдруг утих, а она все еще не могла прийти в себя, хотя он ждал ее умиротворения с тем демонстративным тер-

пением, которое красноречивее всякого откровенного не-терпения.

И только вечером, по пути домой, перебирая в памяти весь эпизод, она с удивлением обнаружила, что ничего нелепого в хохоте ее не было, потому что смеялась она во-все не «поэтической находке» Валка, а тому превосходному ощущению легкости и раскованности мысли, которое вмиг нахлынуло на нее. Оно было так неожиданно, что сразу она и не узнала его, но оно уже пришло, пришло еще задолго до того, как Валк сказал ей:

— Пожалуй, пятый пункт теперь не к делу. Не так ли?

Да, теперь это было именно так и нисколько, ни чуточки иначе: она смотрела на проблему глазами Валка, но отныне это были и ее глаза. Сам Валк, правда, говорил об этом иначе. Он говорил, что истинной вере — а истинной он считал только пережитую веру — почти всегда предшествуют нравственные кризисы, в которых высвобождается грандиозная энергия обновления человека.

Альберт прежде других заметил перемену в ее настроении.

— Доктор, — сказал он, — я завидую больному, которого вы лечите.

Это была вполне респектабельная шутка, но потому, что он, ее пациент, первый заговорил вслух о ее радужном настроении, она смутилась и, вместо того чтобы тотчас согласиться — да, Альберт, у меня сегодня отличное настроение! — зачем-то стала доказывать, что у нее всегда прекрасное настроение, но лишь сегодня он впервые обратил на это внимание.

— Наверное, — сказал Альберт, улыбаясь, и от этого его полнейшего непротивления она вконец запуталась и принялась лепетать о неких жизнерадостных молодых людях, которые готовы выжимать юмор даже из стеклобетона.

— Из стеклобетона, — очень серьезно заметил Альберт, — трудно, но можно. Творческим усилием — только очень пахнуть будет. А юмор с каплями честного пота на носу — тоже юмор, но не тот, который нам нужен.

— Ладно, — рассмеялась Ягич, — сдаюсь, вы угадали: у меня сегодня чудесное настроение. А у вас?

Альберт вздохнул, тяжело, по-стариковски, и вдруг принялся рассказывать забавную, «очень забавную, доктор, историю»:

— Года три назад я лежал в клинике. Был у меня ожог. В соседней палате лежал старик. Старик обварил себе ноги. Хорошо обварил. Было старику сто одиннадцать лет. «Молодой человек, — говорил мне три раза на день этот старик, — если бы я умер на год раньше, у меня были бы совсем новые ноги». — «Уважаемый отец, — отвечал я ему три раза на день, — по-моему, это очень обидно — умирать с совсем новыми ногами». — «Вы глубоко ошибаетесь, молодой человек, — восклицал старик, — мои новые ноги могли бы через пять лет кому-нибудь пригодиться!» По утрам к этому старику с уже не новыми ногами приходил доктор, выстукивал его, выслушивал и делал какие-то заметки в блокноте. Доктор этот любил писать, а старику не терпелось узнать последние известия. Но все-таки он ждал, и, едва доктор кончал свое священнодействие, старик, лучезарно улыбаясь, заглядывал ему в лицо и заговорщически спрашивал: «Ну, доктор, как я себя чувствую?» Старик уверял меня, что помнит, как самолеты сбрасывали на людей бомбы. Старик еще жив, его ноги понадобились ему самому.

— Забавная история, — согласилась Ягич, — но мораль, признаюсь, не ясна мне.

— Мораль? — повторил Альберт, и не было в его голосе ни удивления, ни досады. — Мои руки уже никому не пригодятся. И еще: «Ну, доктор, как я себя чувствую?»

— У вас отличное самочувствие, Альберт! — воскликнула Ягич, может быть, чуть-чуть громче, чем следовало бы.

— А что я делал целый месяц, доктор?

Ягич силилась сохранить непринужденность доктора-оптимиста, но, видимо, она перестаралась, и получилась отвратительная интонация хорошенькой девчушки, разыгрывающей легкомыслие:

— Ах, поверхностная летаргия.

— Зачем?

— Профессор так многих лечит. Это дает хорошие результаты.

Ягич уверенно улыбалась, и даже понадобись ей сейчас убрать эту улыбку — она была бы бессильна: тугие резиновые колки прочно фиксировали ее растянутые губы. Вот только глаза... Впрочем, и глаза вроде бы ничего; во всяком случае, она безошибочно уловила мгновение, когда зрачки Альберта, нацеленные в ее глаза, расширились, освобожденные от недоверия и тягостных догадок.

— Хорошо, — сказал Альберт, — но у меня, понимаете, как бы это пояснее выразить, странные ощущения — вроде бы мои руки, которые я вижу, длиннее тех, которые я чувствую. В общем, когда я открываю глаза, кисти оказываются дальше того места, где я рассчитывал их увидеть.

Все еще улыбаясь, Ягич пожала плечами:

— Но в этом ничего особенного нет. Даже у здоровых людей изменяется пространственное восприятие своего тела: иногда руки представляются им непомерно длинными, иногда, напротив, явно укороченными. Перечитайте «Сон Д'Аламбера». И обратите внимание: это восемнадцатый век. Мы многое забываем.

— Значит, порядок, доктор: в Мадриде полночь, испанцы могут спать спокойно.

Лицо Альберта было безмятежно, но Ягич никак не могла отделаться от тягостного ощущения незавершенности — не то надо бы сказать еще что-то, не то сделать. Выходя из палаты, она чувствовала на себе взгляд Альберта, и внезапно они сомкнулись, эти два ощущения — незавершенности и чужих глаз. Теперь все стало на место: она не вполне убедила Альберта, и ущемленная его вера индуцировала в ней тягостное ощущение незаконченности.

Она долго колебалась, прежде чем решилась рассказать об этом Валку. Но Валк, сверх всяких ожиданий, принял ее сообщение без эмоций:

— Больные, доктор, всегда немножечко не доверяют врачам. Полное доверие бывает только у людей, не знающих недомоганий. Но им не нужен врач.

— Однако профессору Валку его пациенты верят сполна.

— Да, вкупе с профессором они внушают себе, что верят ему безоговорочно. Как видите, пятый пункт установлен не безнадежными крестинами.

Ягич правильно поняла Валка: теперь она вкупе с ним должна внушить себе, что ей пациент верит тоже безоговорочно. Разумеется, это выходило за пределы пятого пункта, но, в сущности, именно это — абсолютное доверие больного к врачу — было его конечной целью.

Уже к исходу первой недели она почувствовала ту восхитительную твердость, которую дает полное слияние прежде инородной, рациональной воли с физическим «я». Движения ее стали замедленными, походка неторопливой, и, самое удивительное, она постоянно улыбалась. Точнее, это была даже не улыбка, а некая постоянная готовность улыбнуться, и Альберт однажды прямо сказал ей:

— Вы все время сдерживаете улыбку. Зачем?

Да, он был прав: у нее действительно не проходило ощущение внутреннего притормаживания, но ощущение со-

вершенно бесспорное — настолько бесспорное, что не было нужды проверять его целесообразность.

Во всем этом была, однако, и неприятная сторона: уверившись в полном благополучии, Альберт стал крайне нетерпелив. Агрессивно нетерпелив. Хотя ему предписана была полная неподвижность, он чересчур часто, пусть и не всегда предумышленно, пытался переменить положение своего тела. Добиться успеха в этом он все равно не мог бы: тело его было четко фиксировано на койке, — но чрезмерные мышечные усилия его были далеко не безопасны.

— Альберт, — по пяти раз на день увещевала Ягич, — вы ведь не ребенок. Возьмите себя в руки.

Кстати, в первый раз, прежде чем произнести это метафорическое «возьмите себя в руки», она запнулась. Заметил ли ее заминку Альберт? Пожалуй, нет. Во всяком случае, она предпочла твердо держаться этой версии.

В присутствии Валка Альберт был много сдержаннее. Но трудно было решить, что интенсивнее здесь сказывается — авторитет профессора или авторитет отца. Сам же Валк ни разу не дал понять, что допускает мысль о каком-то ином поведении Альберта. Даже после того как Альберт без обиняков заявил, что ему надоела эта матрацная тюрьма, Валк по-прежнему вел себя так, будто реакции пациента остаются неизменными.

Спустя несколько дней Ягич с удивлением обнаружила, что ведет себя точно так же, как Валк. Точнее, удивилась не столько тому, что воспроизвела линию своего шефа, сколько тому, что все это сложилось спонтанно, без заданности волевого усилия и цели.

Но самое поразительное было то, что это свое уподобление Валку она обнаружила ранее всего через Альберта, сбнаружила в ту среду, вечером, когда он признался ей:

— Вздор, но едва приходите вы — появляется отец. Вопреки очевидности я отчетливо ощущаю его присутствие.

Откровенно говоря, она была изумлена не менее самого Альберта и все-таки принялась зачем-то убеждать его, что в общем-то это банальный психологический эффект, основанный на мощных ассоциациях. Но Альберта не удовлетворяло такое толкование, он утверждал, что речь идет не об ассоциативных представлениях, а об эффекте присутствия заведомо отсутствующего человека.

Впрочем, какое бы объяснение ни давали этому Ягич и ее пациент, одно оставалось несомненным — беспокойство уже не томило Альберта с прежней силой, и он терпеливо подчинялся установленному для него режиму.

Приживление конечностей пока протекало без эксцессов. Но Валк с тревогой ждал двадцатого дня — счет дням он вел от пробуждения Альберта.

Произошла странная метаморфоза: то ли неведение было тому причиной, то ли меньший диапазон воображения, то ли какой-то мощный энергетический заряд, фантастически индуцированный в ней, однако Ягич явственно ощущала превосходство своей воли в эти дни. Внешне Валк ничем не выдавал своих тревог, но, когда она походя заметила, что глубоко убеждена в благополучном исходе, Валк поднял на нее глаза, потрясаясь добрыми глазами, и очень тихо поправил:

— Не убеждены, а уверены. Уверены, Ягич. Спасибо.

В ночь накануне двадцатого дня Валк не ложился. Он отказался от первоначального намерения остаться на ночь в клинике, но при этом заставить себя еще и спать, будто все ordinarily, как вчера, или позавчера, или пятью ночами раньше, Валк не мог.

Ягич позвонила в четыре пятнадцать. Оборвав запись на полуслове, Валк рванулся к видеотелефону. Передатчик был включен, и она, должно быть, заметила этот его импульсив-

ный рывок, который случается у людей, проводивших ночь в напряженном ожидании. Это было не очень приятно, и Валк приветствовал ее с сухостью, которая должна была исключить всякую участливость с ее стороны.

Но ординатор Ягич оставалась на редкость невозмутимой. Она не заметила ни порывистости профессора, ни его сухости. Очень спокойно, почти без интонаций, так, что голос ее мог соперничать по невыразительности с электронным, она сообщила, что все в полной норме и никаких предвестников осложнений нет. И еще: о ее пребывании здесь, в клинике, Альберт не знает.

Занималось вязкое, синее утро августа. Луна, в последней четверти, была огромна, как огромный рот Пиноккио — всчно улыбающегося деревянного человечка, выдуманного два столетия назад маэстро Карло Лоренцини из Италии. Стоя у раскрытого окна, Валк улыбался, и рот его был почти так же огромен, как рот Пиноккио, или вот эта Луна, в последней четверти. Потом он нажал кнопку — медленно поползла панель, и казалось, что это она вытаскивает из стены кровать, а не наоборот — кровать вытаскивает ее.

«Девять», — мысленно произнес Валк, расслабляясь, обычно, от пальцев стоп к шее и челюстям. Электроды сначала чуть-чуть охладили стопы, но через две-три минуты он перестал замечать их. Последнее, что он увидел, было лицо Даля — осунувшееся, небритое, с гримасой застывшего сверхудивления.

Двадцатипятилетней давности солнце взошло над Валком. Вдвоем с Альбертом они строили белый город на золотых песках. Валк точно знал, что белого города строить не надо, потому что мать Альберта жива. Но мальчик упорно воздвигал дом за домом, и отец помогал ему — расчищал новые площади, перетаскивал камни, черпал из моря воду. Альберт строил город по собственному плану, и Валк дивился

его великолепному чутью архитектора. Город давал ощущение материализованной в белом камне вечности. Все вокруг было преходяще: и море, теплое, вязкое, как белок, и песок, оставлявший тончайшего помола пыль на ладонях, и солнце, скатывающееся к горизонту. Только город был вечен, потому что этот белый город был само время. Время его, Валка, сын, который тоже время.

«Бессмертие, бессмертие!» — кричал Валк, но, как ни странно, вырываясь наружу, слово это звучало как имя его сына: Альберт, Альберт!

Наконец, повторившись тысячи раз, имя сына звучало уже не только извне, но и в голове, и во рту, и в груди. И чем чаще звучало имя, тем чаще колотилось сердце. Казалось, сны подстегивают друг друга, но сердце норовило во бы то ни стало опередить имя, а оно все несло вровень с сердцем, тесня его, и невозможно было понять, чем же именно оно теснит его.

Очнувшись, Валк с минуту был совершенно беспомощен: бешеными своими толчками сердце расшвыривало его изнутри, и хотя он оставался неподвижным, руки, и ноги, и тело его вибрировали с чудовищной, непереносимой для человека частотой.

Методично, через каждые пять секунд, названивал телефон — кинескоп был отключен. Наконец Валку удалось приподняться — на столике лежал карманный электрокардиостимулятор. Подключив электроды стимулятора к груди, Валк подошел к микрофону. После мгновенного колебания он включил весь контур.

Ягич была взволнована — это Валк увидел сразу. Но, собственно, она и не пыталась скрыть своей встревоженности, и не исключено, что именно этому, а не кардиостимулятору Валк обязан был тем внезапным приливом бодрости, который стейеры называют вторым дыханием.

В семь сорок у Альберта поднялась температура. Минут через двадцать он впал в бред: сначала он твердил о квантовом ультрагенераторе и, скрежеща зубами, называл какое-то имя, а затем стал завывать. По первому впечатлению, это были беспорядочные звуки, но вскоре Ягич показалось, что она слышит какую-то знакомую мелодию, искаженную до неузнаваемости. И еще ей показалось, что Альберт противится этой мелодии, но подавить ее не в силах.

Теперь Альберт молчит, однако энцефалограммы показывают, что бредовые видения не оставляют его. Полчаса назад она ввела больному две ампулы гипотонического гидрата. Но, может, этого недостаточно?

Достаточно, кивнул Валк, пока достаточно, а затем вводить через каждые три часа по две ампулы. И самое главное — безостановочно следить за показаниями фотометра: при малейших признаках некроза* молниеносно уведомить его.

К вечеру температура Альберта пришла в норму, а перед рассветом упала до тридцати двух градусов. На трое суток гипотонический гидрат погрузил Альберта в средний парабриоз.

Утром Валк осмотрел Альберта. В местах приживления рельефно, как вшитый кант, розовели рубцы. Позднее можно будет удалить рубцы, но это позднее, когда Валк поручит своего сына заботам косметолога. А пока, по образному выражению предков, до этого еще далеко, как от земли до неба. Хотелось бы, однако, поскорее узнать, как велико это расстояние в данном случае. Но кто может ответить на этот вопрос, если сам он, Валк, не может?

Ягич обратила внимание Валка на пятнышко под ключи-

* Омертвление какой-либо части организма. (Прим. ред.)

цей пациента. Профессор махнул рукой: пустяки, небольшая гематома, через два дня рассосется.

Валк был удовлетворен и спокоен, настолько спокоен, что предложил своему ординатору немедленно отправиться домой и вернуться в клинику к шести. Ягич запротестовала и тут же принялась пересказывать статью из последнего номера парижского вестника «Регенерации и трансплантации»:

— Суассон и Шамо утверждают, что в ближайшие пять лет они решат проблему пересадки конечностей у человека. Но ведь это через пять, а профессор Валк...

Валк стремительно поднес палец к губам: замолчите! Затем, ухватив ее за рукав, потянул за собой в коридор.

— Послушайте, — набросился он на нее, — вы совершенно потеряли голову: ведь Альберт слышит каждое слово! Хорошо, если по пробуждении он позабудет ваши слова. А если нет?

— Извините, — прошептала Ягич, стискивая лицо руками.

— Ну при чем тут извинение? — все еще не мог успокоиться Валк. — Я-то извиню вас...

— Да-да, — шептала она, — я понимаю, я все понимаю.

— Ну, будет, — решительно объявил Валк, — мы не дикари, нечего рвать на себе волосы.

Да, согласилась Ягич, не дикари, но досада по-прежнему теснила ее, гяжеля голову, ноги, руки.

— Кстати, доктор, — просветлел вдруг Валк, — страдания не всегда украшают женщину. Особенно молодую.

— Спасибо, профессор. Спасибо за информацию.

— Рад служить, — очень спокойно и деловито произнес Валк. — Но это урск мне: нельзя переутомлять людей.

— Возможно, — пожала плечами Ягич, — но почему за наши уроки должны платить другие?

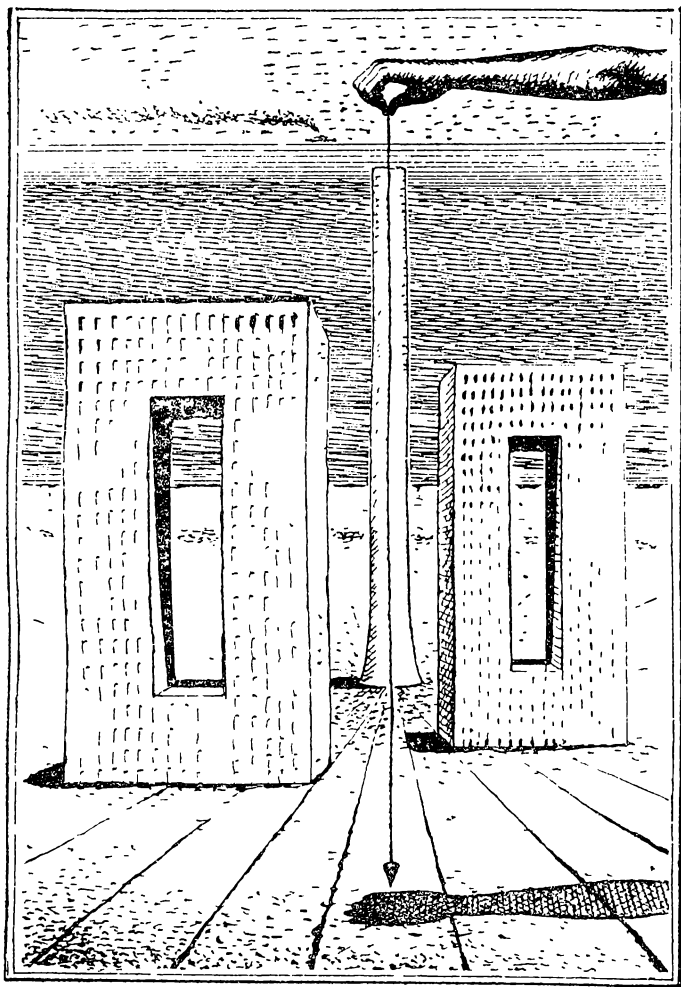
— Успокойтесь, доктор, у жизни своя учебная программа. И своя бухгалтерия тоже. Целесообразность и справед-

ливость она не всегда понимает так, как понимают их люди. Моему сыну было восемь лет, когда умерла его мать. Ей было тридцать. А мне вот без малого семьдесят, у меня свои руки, свои ноги и голова, в которую временами забредают не самые ублюдочные идеи. Идите домой. Пора.

Ягич ушла. Не попрощавшись. Впрочем, возможно, она попрощалась: Валк стоял у окна, лицом к каштану, который наклонясь, доставал окно своими лапами. Листья каштана были еще по-утреннему влажны.

Через три дня, вечером, Альберт проснулся. Первая мысль его была встать и размяться. И только тогда, когда появилась эта мысль, он вспомнил, что болен. Рядом никого не было. Небо на горизонте было того блекло-лимонного цвета, который напоминает кожу человеческого лица в сумерки.

Блаженное ощущение непомутненного покоя томило Альберта, как в детстве, когда он оставался один на песчаной косе Каролино-Бугаза — вдали от шестнадцатизэтажных стеклянных домов пансионата и бесчисленных соляриев с фонтанами. Ему тогда уже казалось, что люди построили чересчур много домов и эти дома начали теснить человека. А отец говорил, что на земле становится тесно и дух кочезий возрождается в людях с новой силой. По-настоящему он понял эту мысль отца много позднее, на втором или третьем курсе, когда в путешествиях внезапно открылась ему энергия раскрепощения и обновления человеческого духа. Не только поиски новых источников сырья — он готов был даже утверждать: не столько! — но и освоение новых пространств, необходимых для нормального функционирования человеческого духа, — вот их цель. Интеллектуальное и эмоциональное поле человечества переломных периодов истории он невольно уподоблял сверхплотным звездам с их критической массой. Во всяком случае, клас-



сическая загадка великих переселений народов должна была, по его убеждению, решаться именно в таком ключе.

Вращаясь, Земля плавно и бесшумно уводила город и палату Альберта в собственную свою тень, густую, синюю августовскую тень. Запрокинув голову, Альберт произнес в диктофон, укрепленный над ним: «Свет десять люксов». Щелкнуло реле. Свет шел отовсюду, и предметы, как в полдень на экваторе, не имели тени, кроме той, что была под ними. Мягкое, бронзовое, с чуть заметным оранжевым оттенком сияние вновь вернуло Альберта на золотые пески Каролино-Бугаза, но теперь ощущение покоя было полнее, чем в тот, первый раз, когда ассоциации увлекли его в дебри человеческой истории. Он закрыл глаза, и пальцы его погрузились в песок, бархатный, как цементная пыль. Он зарывался все глубже, но не всей кистью одновременно, как бывало прежде, а перебираясь с клавиши на клавишу, причем самое странное было то, что он отчетливо видел эти клавиши — широкие белые и выступающие над ними узкие черные. Вследствие того, что пальцы погружались неравномерно, песок ссыпался от одного пальца к другому, и Альберт явственно слышал монотонно разыгрываемые гаммы из первых пяти нот. Темп понемногу ускорялся, и сначала Альберт прислушивался к этим звукам, даже не без любопытства, но когда невесть откуда раздалась нетерпеливая, капризная команда — престо, престо фортиссимо! — он резко, с чрезмерным усилием открыл глаза. Песок, и клавиши, и звуки — все исчезло, но раздраженность не проходила. Альберт по-прежнему ощущал в себе нечто инородное, то самое нечто, которое готово было немедленно подчиниться этой вздорной команде — престо, престо фортиссимо!

Забавно, твердил про себя Альберт, забавно. И пусть пришел бы кто-нибудь, хотя, строго говоря, зачем? Чтобы

полюбоваться заодно с ним на проделки расстроенной иннервации? Чтобы...

— Добрый вечер, Альберт. Я не потревожила вас?

— Нет, доктор, вы не потревожили меня. Но, мне кажется, доктор, вы...

— Да, Альберт, я наблюдала за вами.

Глаза и голос Ягич давали ощущение той изумительно точной, безукоризненно соответствующей предмету разговора и ситуации меры, которую и теперь, как в прошлом веке и две тысячи лет назад у эллинов и римлян, называли естественностью. В математическом анализе эмоций такое поведение предпочитали, правда, именовать попросту экономичным, но понятие это привилось только в узком кругу специалистов.

Альберт был обезоружен. Впрочем, нет, это слово — обезоружен — совершенно искажало истинный смысл его реакции: у него не только прошло всякое желание выкладывать свое недовольство, но и появилось нечто прямо противоположное — досада на себя. И хотя оно, это чувство, быстро нейтрализовалось, само появление его казалось Альберту, для которого щепетильность и необъективность были всегда на одно лицо, тревожным симптомом. Именно широта характера, исключавшая всякую индивидуалистическую мелочность, с детских лет была вернейшей чертой Альберта. Сначала, разумеется, она проявлялась совершенно стихийно, но с годами Альберт, постигая себя, развил ее до такой степени, что даже стимулирующая зависть, одобренная этикой, стала чуждой ему: ничего, кроме дела, ничего, кроме истины!

Разговаривая с Альбертом, Ягич вспомнила свои недавние сомнения, которые едва не привели ее к разрыву с Валком, и отметила про себя: в сущности, достаточно бывает посмотреть на вещи просто, чтобы они и в самом де-

ле стали простыми. И тут же поправилась: но до чего все-таки трудно бывает смотреть на вещи просто!

— Знаете, доктор, — ни с того ни с сего вдруг заметил Альберт, — мне иногда кажется, что умение просто видеть вещи, то есть видеть их такими, каковы они на самом деле, — это и есть мужество.

— Да, — улыбнулась Ягич, — я тоже об этом думала. Вот только сейчас, когда вы произносили эти слова. И в такой же формулировке, только без «кажется».

— Ну, это понятно, — покорно вздохнул Альберт, — женщины всегда были категоричнее мужчин. Должно быть, потому у них нервы крепче. И живут они подольше.

— Возможно, — вздохнула и Ягич, — но в таком случае природа часто и неумеренно забавляется. Боюсь, парадоксы — это ее истинное призвание, а банальные истины — трудпсвинность для нее.

Наступила пауза. Ягич спокойно и легко смотрела в глаза Альберту, как человек, который хотя и не знает, какой именно зададут ему сейчас вопрос, но при этом абсолютно уверен, что, каков бы ни был этот вопрос, он ответит на него без промедления и сполна. И опять у Альберта появилось давнишнее ощущение, что Валк здесь, рядом, и, невидимый, смотрит ему в глаза.

— Скажите, доктор, — Альберт секунду помедлил, откровенно выискивая в зрачках Ягич те единственные точки, которые дали бы ему ощущение безукоризненного контакта, — как вам работается с моим отцом?

— Профессор Валк — большой ученый. У нас в клинике говорят: суперинтеллект.

Альберт поморщился: запахло кумирней, которая формально была уничтожена еще в XX веке, в нынешнем же последние развалины ее обращались в прах всем смыслом пункта об убеждениях, и все-таки даже прах, оказывается,

может служить неплохим строительным материалом. В чем же дело — неужели люди и впрямь не могут обходиться без идолов, кумиров, предводителей, авторитетов или, как их там еще называли, отцов человечества и суперменов?

Ягич рассмеялась весело, звонко — так она еще не смеялась здесь, в палате.

— Альберт, но вы зря негодуете: у вас в физике все проще, а в медицине чересчур много неясного, и спасение человека еще достаточно часто представляется настоящим чудом.

— Да, это так, — задумчиво произнес Альберт, — иногда мне даже кажется, что состязание физики с биологией и медициной Зенон превзошел в апории «Ахиллес и черепаха». Поразительно, но до сих пор не решена проблема биологической совместимости. Человек, мозг вселенной, довольствуется полимерными эрзацами, потому что бессилён воспроизвести даже элементарный акт регенерации конечности, который ежедневно на его глазах проделывают миллионы ящериц. Но о чем это я, если он не умеет пересадить даже готовую, данную ему самой природой, человеческую руку или человеческую ногу! Нет, ведь это чудовищно: как щедра природа и как беспомощен человек!

Распалась, Альберт внезапно сделал попытку приподняться, и, не будь рядом доктора, это вряд ли кончилось бы добром. Ягич, однако, успела прижать его к койке, и все обошлось лишь тремя сломанными электродами. Но горячность, с которой Альберт обрушился на медицину и медиков, оставила у нее тягостную и ноющую, как давняя рана, тревогу. И дело было вовсе не в уязвленной профессиональной гордости: медики лучше других знали истинную цену всемогуществу медицины, хотя и уподоблялись зачастую матери, которая считает себя вправе говорить какую

угодно правду о своем чаде, но за другими признает это право скрепя сердце.

Нет, профессиональная гордость, честь мундира были здесь ни при чем: почти с прежней силой на Ягич хлынули сомнения, и весь день она провела в томительном ожидании разговора с Валком. И то, что прежде ей казалось совершенно безупречным, — консультации с шефом в заранее установленные часы, — теперь почему-то вызывало раздражение и представлялось неуместным педантизмом. В конце концов, убеждала она себя, необычные ситуации самой своей сутью исключают предварительное распределение времени.

В семнадцать пятнадцать профессор Валк принял своего ординатора. Ягич не скрывала дурного настроения, но Валк был невозмутим. И эта невозмутимость его подстегнула недовольство Ягич. Но, самое удивительное, как ни горячилась она, профессор только кивал утвердительно головой и время от времени похлопывал стол ладонью. А затем, когда она кончила свое темпераментное донесение — это он, шеф, назвал так ее информацию, — ей было предложено сделать небольшой экскурс в историю медицины. Экскурс оказался самым элементарным, и мораль из него — откровенно азбучной: врач — не пациент, терпение для врача — не добродетель, а долг.

— А проще говоря, — подвел итоги Валк, — научитесь ждать и не убаюкивайте себя собственным благородством: когда ВАМ не терпится — это ВАМ не терпится, и забота о пациенте здесь — банальный камуфляж.

— Но, профессор, — чуть не взмолилась Ягич, — вы бы видели своего сына, когда он негодовал на медиков и медицину!

— У него есть право на это, — с неожиданной сухостью, как о постороннем, произнес Валк. — Его мать умерла, и

единственное, что могла сделать медицина, — объяснить и засвидетельствовать факт ее смерти. Кстати, я рассказывал вам однажды об этом, заботясь не только о вашем потребованном любопытстве. Я надеялся, что многое в поведении Альберта прояснится для вас.

— Значит, вы исключаете догадку Альберта об истинном положении?

— Да, исключаю. И давайте с вами договоримся раз и навсегда: мой сын принимает правду в ее натуральных красках и требует того же от других.

Вся следующая неделя сполна подтвердила правоту Валка: Альберт ни о чем не догадывался и точно так, как с неделю назад он расправился с медициной, теперь он разделял физику и физиков, которые через сто лет после смерти Эйнштейна едва-едва набрали на общую теорию поля. Притом разделял тем яростнее, чем лучше себя чувствовал и чем упорнее думал о застое в собственных исследованиях.

О странных музыкальных своих наваждениях он рассказывал теперь менее охотно и реже, чем прежде, хотя интенсивность их не только не уменьшилась, но, напротив, даже усилилась. Однако, объясняя все расстроенной иннервацией, он полагал, что всякие иные наваждения были бы в данном случае столь же уместны, и потому не видел нужды искать другие, более конкретные и специальные объяснения. Врачи же полностью исключали всякую преднамеренную концентрацию внимания пациента на несбыточных его ощущениях.

Наступило затишье. Такие временные затишья случаются в тяжелых и даже самых тяжелых болезнях, когда сама обреченность становится вроде бы условной категорией, реальный смысл которой целиком зависит от воли человека.

Валк называл это состояние «очаровательной передышкой

между тысячной и тысяча первой ночью Шехерезады. И в заключение обязательно пояснял, что это единственный случай, когда он верит не только в коварство, но и в злонамеренность бога. Вопреки Эйнштейну.

Ягич неожиданно замкнулась — видимо, для того, чтобы не поддаться очарованию мнимого благополучия. Отлично, твердил про себя Валк, отлично, в моем ординаторе прсклевывается медик. Но самое нелепое, в дни великого затишья он больше всего думал не о сыне своем, Альберте, не об ординаторе Ягич, а о профессоре Дале.

Два месяца Даль не напоминал о себе. Два месяца он пропадал на юге, в Сухумском виварии, в компании шимпанзе, которые должны были убедить человечество, что между собственной рукой и заимствованной никакой разницы нет. Со дня на день в лаборатории Валка ожидали реферативный вестник Сухумского центра трансплантации. В этом вестнике Даль намеревался произнести свое последнее слово, и это слово должно было стать приговором Валку.

Для Валка последнее слово Даля было из разряда великих секретов полишинеля, и все-таки ему не терпелось увидеть это слово овеществленным на меловой бумаге в типографии. «Черт возьми, — укорял он себя, — во мне просыпается жажда аутодафе: я вижу чад и пламя, пожирающие вестник Даля».

Однако двадцать пятого августа, в четыре часа пополудни, когда руки Альберта, освобожденные от фиксаторов, впервые приподнялись над койкой, Валк начисто позабыл и Даля, и вестник его, и чадное пламя, пожирающее этот вестник.

— Смелее, Альберт, смелее, — приказывал он сыну когда тот внезапно останавливался, как изнуренный альпинист перед следующим шагом.

И Альберт поднимал руки все выше — пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать градусов, и казалось, одно небольшое еще усилие, и рубеж — сорок пять градусов — будет взят, но вдруг эти руки утратили жесткость усилия и шмякнулись, как подстреленные, на койку.

Ягич импульсивно подалась вперед, торопясь на помощь, а Валк, придерживав ее протянутой рукой, спокойно, будто речь шла о спортивной дистанции, объявил:

— Отлично, сын! Превосходно!

Альберт был бледен. Даже глаза его, обычно синие густой синевой сумеречного моря, поблекли.

— Отец, — сказал Альберт, — эти руки никогда уже не будут моими.

— Они твои, — улыбнулся Валк, — они уже твои, Альберт.

— Нет, — покачал головой Альберт, — они не слушаются меня. Ты не представляешь себе, чего стоил этот подъем. Я с трудом заставил их сделать то, что хочу я. У меня было ощущение, что у них своя воля, свои желания...

Не дослушав Альберта, Валк стремительно поднялся, сделал несколько шагов к двери, а затем, круто повернувшись, уже спокойно, как накануне, присел у койки.

— В психологии и физиологии диссоциация такой же элементарный акт, как у вас в механике, Альберт. Но в механике нет эмоций и морали. Неодушевленные предметы не чувствуют себя ни сильными, ни слабыми.

— Нет, — повторил Альберт, — я не о том, отец. Мне надо подумать. Это уже много дней, но я не придавал этому значения; я тоже отделялся параллелями с элементарной диссоциацией.

— Но, Альберт, — голос Валка был ровен, как голос диктора, извещавшего об отправке очередного самолета, —

это действительно диссоциация. Кстати, еще в прошлом веке писатель-аэронавт Сент-Экзюпери рассказывал в «Ночном полете» об этом феномене отчуждения рук. Добавлю: совершенно здоровых рук.

— Да, — кивнул Альберт, — я помню это место: чужие руки лежат на штурвале, и нет уверенности, что они поступят так, как им велят. Я подумаю, отец.

В ближайшие три дня Альберт не вспоминал о своих руках. Накануне Валк предупредил его, что никакой физиотерапии пока не будет, что до конца недели Альберт сам волен распоряжаться своими руками. И в присутствии профессора и Ягич Альберт оставался неподвижным, хотя был уверен, что все упражнения, которые он проделывает, оставаясь наедине с самим собою, наверняка записываются и просматриваются в лаборатории Валка. Впрочем, сколько он ни осматривал палату, никаких признаков фотоглаза обнаружить не удалось, но уверенность его от этого несколько не меркла. Напротив, что-то неуловимое — то ли чрезмерная беззаботность, то ли мгновенная произвольная задумчивость Ягич — убеждало его всякий раз, что упражнения эти не остаются секретом для врачей. И когда, третьего еще дня, она перед уходом демонстративно надела на объектив телекамеры колпак, ему отчаянно захотелось напомнить ей, что, черт возьми, он как-никак физик, а не кулинар какой-нибудь. Но спустя два дня, утром, он поймал себя на мысли о приборах слежения — мысли, которой у него еще за секунду до этого не было. И тогда он понял, что психологический расчет отца точен, ибо человек неизбежно забывает о незримом, которое к тому же не представляет никакой угрозы.

Руки Альберта вели себя крайне странно. Впрочем, самым странным было, видимо, все-таки то, что сам Альберт представлял себе теперь их не иначе, как некое «я», про-

тивопоставленное его истинному «я», то есть тому единственному «я», в котором материализовалась его воля.

Уже к исходу первого дня Альберту удалось поднять руки на заветные сорок пять градусов, которые еще каких-нибудь четыре-пять часов назад были совершенно недоступны ему. Но едва намечалась усталость, они, эти руки, начинали совершать беспорядочные движения, лишённые ритма и смысла. Все это нисколько не удивило бы Альберта, если бы не одно совершенно определенное ощущение — в своих беспорядочных движениях руки пробиваются к какому-то известному им рисунку. Каков был этот рисунок, когда и в каких обстоятельствах он был освоен — ничего этого Альберт не представлял себе. У него мелькнула мысль об изолированном акте сомнамбулизма — руки вспоминают движения тысячевековой давности, точно так, как бывает это у всех сомнамбул. Но тут же он возразил себе, что сомнамбулизм и бодрствующее сознание несовместимы, а предположить самостоятельное, погруженное в транс сознание у твоих собственных рук — нет, это чересчур нелепо.

Вконец утомленный, Альберт выпрямил руки до отказа — чудовищно длинные, тяжелые, они лежали на койке рядом с ним. Вибрация в теле, вызванная непомерным физическим напряжением, уже почти угасла, когда Альберт вдруг услышал поразительно гулкое арпеджио рояля. И одновременно с этим арпеджио пальцы его забились в мелкой судорожной дрожи, и, хотя они были совершенно чужды возникшему в нем зрительному образу скользящих по клавишам пальцев, он с отчаянной ясностью улавливал в их дрожи тот же рисунок, но многократно, как в перевернутый бинокль, уменьшенный

Все это само по себе было крайне неприятно. Но много хуже было то, что отчетливое ощущение раздвоенности,

которое нарастало с секунды на секунду, сопровождалось изнуряющим страхом, тем более изнуряющим, что никаких разумных оснований для него не было. Чтобы погасить тягостные видения, Альберт понуждал себя думать о лаборатории лазеров, но спустя минуту-другую он бежал оттуда в экспериментальный цех квантовых генераторов, чтобы еще через минуту умчаться на лазерный полигон в Тянь-Шане. Но и там, на семикилометровой вершине, где надо было надеть кислородную маску, чтобы не задохнуться, неловкие арпеджио грохотали, как горные обвалы.

И тогда осталось одно: ждать, терпеливо ждать, противопоставив нелепому изнуряющему страху простейшую мысль — нет ничего страшнее небытия. Но разве так уж страшно это — небытие?

Раза три-четыре после этого страх еще набегал волнами, но волны эти, которые с берега казались огромными, по мере приближения сникали и под конец почти вовсе исчезали, не то уходя на дно, не то растворяясь в огромной массе прибрежной воды, млеющей после бури на солнце.

Потом пришла тишина. Она была удивительна, эта тишина,— она была конкретна и неуловима, как солнечный луч, который нельзя зажать в кулаке; она оборачивалась звоном в ушах, тупыми ударами сердца, переливчатыми, как звон далекого ручья в горах, едва человек прислушивался к ней.

А потом, после этой тишины, буря уже не возвращалась. После этой тишины были только этюды Шопена, двадцать четыре. Они чередовались, как в концерте, с теми минимальными паузами, которые необходимы залу.

Никогда прежде Альберт не слышал их в таком безупречном исполнении. И никогда прежде он не знал этого изумительного ощущения идеальной реализации ожидаемого. Ощущение удовлетворенности было так полно, что только позднее, когда опять вернулась тишина, он заметил, что

удовлетворенность эта идет — он сказал про себя: иррадирует — от рук. Причем она поразительно напоминала другую, из детства, которая бывала у него, когда мать опускала озябшие его руки в теплую воду.

Но, кроме удовлетворенности, была еще усталость. И хотя больше всего устали руки, потому что пальцы проделали все двадцать четыре этюда, скованность была во всем теле. Скованность от чрезмерного мышечного напряжения.

Ни отец, ни Ягич в течение целой недели не задавали ему тривиальнейшего, освященного веками вопроса лечащего врача — как чувствует себя больной? Строго говоря, это было естественным следствием предоставленного ему права свободной ориентации. Но необычность такого режима требовала объяснения, и вечером в пятницу он поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет Ягич. Однако когда она отворила дверь со своим привычным «добрый вечер, Альберт», он почему-то решил отложить разговор до следующего ее визита. Между тем отвратительное ощущение недоговоренности и умолчания росло, настойчиво требуя исхода. Но, несмотря на ясность этого ощущения, сначала никак не удавалось четко сформулировать мысль. И тогда ему представилось безликое НЕЧТО, и он решил, что надо прямо так и сказать: милый доктор, НЕЧТО томит меня, не можете ли вы мне понять, что оно такое, это НЕЧТО?

Пожалуйста, улыбнется Ягич и пояснит: «Все дело в свободе, которую мы предоставили своему пациенту». Ага, значит, не безликое НЕЧТО, а именно эта свобода вызывает у него тягостную озабоченность. И стало быть, нет нужды обращаться к НЕЧТО, лишенному образа, а надо открыто, без обиняков, справиться, чем он обязан этому воспитательному режиму полной свободы. Ведь врач на то и врач, чтобы опекать больного, а если больной не чувствует этой опеки, у него появляются всякие мысли. Но каждому

известно, что всякие мысли как раз и не нужны больному.

— Доктор,— сказал Альберт, когда Ягич поправляла у него теменные электроды,— меня занимает один пустяковый вопрос. Вы слушаете?

— Да-э,— протянула Ягич, улыбаясь,— я слушаю ваш пустяковый вопрос, Альберт.

— Нужна ли больному избыточная свобода? Точнее, имеет ли он на нее право? Разве сам статус больного не есть статус ограничений?

— Да,— ответила Ягич, протирая его темя эфиром,— статус есть статус. Но бывают исключительные случаи...

Он почувствовал, как внезапно оцепенели ее пальцы, как вся она на мгновение замерла и как почти одновременно с этим ее пронизал импульс, вернувший ей прежнюю интонацию и легкость движений.

— ...в этих исключительных случаях мы несколько изменяем режим больного.

— Для чего?

— Чтобы не стеснять естественных реакций.

— А если у этого больного как раз неестественные реакции?

Закрепив последний электрод, она присела на койку у ног Альберта.

— Я говорю о реакциях, естественных для больного. О спонтанных реакциях, не подправленных сознанием ни пациента, ни его врачей.

— Вы следите за мной все эти семь дней, с первого их часа?

— Да, Альберт, всю неделю, с первого ее часа, наблюдаем и записываем.

— Почему мой случай исключительный?

— Травма была серьезная.

— Кора,— это он впервые назвал ее по имени, Корой, и, наверное, поэтому она вдруг заметила свое дыхание, тяжелое, замедленное, не дающее удовлетворения,— эти руки — мои?

— Это ваши руки, Альберт.

— Нет,— тихо сказал Альберт,— это не мои руки. У них своя воля, свои ритмы. Однажды меня укачало. В Магеллановом проливе. Потом мы вышли в океан. Океан был тих, как заболоченное озеро. Но едва я закрывал глаза, волны подхватывали меня, и все начиналось сызнова. Так продолжалось двое суток. А однажды мы с отцом собирали цветы. В степи. Ночью я не мог заснуть — перед глазами у меня мелькали цветы и я сам, беспрестанно наклоняющийся. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от этих видений. Но они были мои, и я знал, что они мои. А эти руки, которые разыгрывают виртуозно двадцать четыре этюда кряду, они не мои. У меня всегда были посредственные успехи в музыке, и мама очень огорчалась.

— Дайте свою руку, Альберт. Вот так. Сожмите мою. Крепче, еще крепче. Разве она не слушается вас? Осторожно, Альберт, вы раздробите мне кисть. А теперь сомневайтесь в свое удовольствие сколько вам угодно.

Надо уйти, надо уйти немедленно, твердила себе Ягич. Надо бежать, а не то всему конец. Я не могу, профессор, вы слышите, профессор, я не могу смотреть ему в глаза!

— Откуда же эта информация, доктор? Разве мои руки могут помнить то, чему никогда не учились? Я слушал эти этюды только в концерте, да и то запомнил лишь, что их было двадцать четыре, а теперь они сидят у меня вот здесь,— Альберт потряс руками,— вот здесь, доктор. Вы бросаете вызов рассудку, вы хотите, чтобы я уверовал в информацию извне, которая предшествует опыту и познанию.

— Альберт, но разве мы всё знаем об источниках информации? Ученые прошлого века рассказывают об одном шотландце, который вдруг заговорил по-арабски, хотя достоверно было известно, что никогда до этого он не слышал арабской речи.

— Достоверно ли — вот вопрос, — задумчиво произнес Альберт.

— И я спрашиваю: а у вас все достоверно?

Альберт молчал. Повернувшись на правый бок, он смотрел на Ягич в упор, и глаза его цвета сумеречного моря темнели быстро, как июльское море к ночи.

— Кора, вы можете сесть поближе? Нет, еще ближе. Да, так. А теперь наклонитесь. Еще чуть-чуть.

Он взял ее лицо в руки, его пальцы скользили, как пальцы слепого, вылепливающие лицо женщины, которая еще мгновение назад существовала только в звуках своего голоса. Они дрожали, они отчаянно дрожали, его пальцы, и он не мог унять их дрожи.

— Кора,—сказал он,— это не мои пальцы. Они хотят другого, они дрожат потому, что я не разрешаю им другого. Эта дрожь их — бунт против меня. Они бешеные псы, перегрызающие цепь.

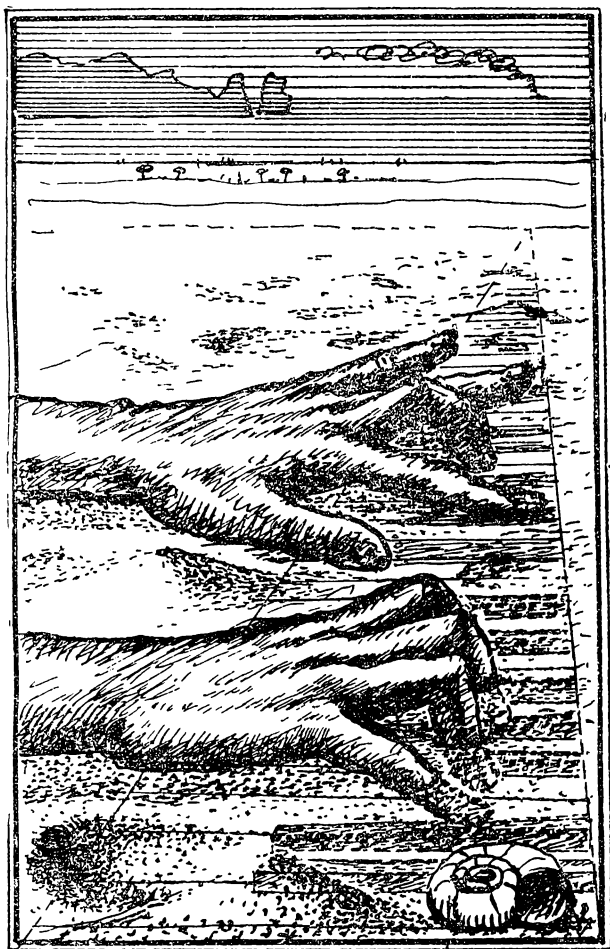
— Но цепь порегрызть нельзя, Альберт.

— Нельзя,—повторил он шепотом.— Наверное, нельзя.

Внезапно руки его перестали дрожать. Она заметила это сразу, еще до того, как пальцы его сплелись у нее на затылке и губы, сухие, шершавые, горячие, заскользили у правого виска, к глазу.

— Это я, Кора,—сказал он,—теперь, доктор мой, я,— успел он сказать еще, и руки его, судорожно сжавшись у нее на затылке, стремительно, как два жестких стержня с одинаковыми зарядами, разлетелись в стороны.

Движения их были беспорядочны и бессмысленны, но



самым тягостным была их жесткость, точно живое человеческое тело нанизали на стальной прут.

— Успокойтесь, Альберт, — приговаривала Ягич, — сейчас все пройдет. Сейчас, одна минута — я включу стабилизатор, и все пройдет.

Стабилизатор был уже готов, когда за ее спиной неожиданно заговорил видеотелефон:

— Альберт, расслабиться! Не надо стабилизатора. Расслабляйся, еще расслабляйся, еще.

На экране чернели мучительно тяжелые глаза Валка. Глаза эти давили огромной тяжестью валунов, непонятно почему задержавшихся в небе, непонятно почему не падающих на землю. Но руки Альберта понемногу успокаивались, и, по мере того как движения их становились упорядоченнее и эластичнее, тяжесть истекла из глаз Валка, растворяясь где-то за экраном быстро и бесшумно, как водород из продырявленного зонда.

Через час, когда солнца уже не было, когда посинели гусиной синевой только что еще заревые облака, Альберт уснул. Она сидела рядом. Она смотрела на желтое лицо человека, изнуренного мучительной борьбой, на шершавые, сухие и горячие его губы, на истончившийся нос, но все это было лишь фоном для того главного, что пронизывало, пропитывало ее всю, что было сейчас ее единственным и истинным «я»: вот лежит первый человек с чужими руками, первый, которому чужие руки стали своими.

Утром, за час до назначенного Альберту пробуждения, она сняла чехлы у него с рук. Валк готов был удалить их еще вчера, когда догадка Альберта стала уже, в сущности, уверенностью, и не только бессмысленно, но и вредно было хранить в тайне то, что перестало быть тайной. Ягич, однако, решительно воспротивилась этому, и Валк согласился в конце концов, что утро более подходящее время. Он даже

вспомнил, что утро вечера мудренее, и подивился исключительной физиологической точности этой пословицы.

Едва проснувшись, Альберт увидел руки, которые лежали поверх белой простыни. В первое мгновение в глазах его не было ничего, кроме заурядного равнодушия — равнодушия к чужому предмету, случайно попавшемуся на глаза. Но тут же с непостижимой быстротой в них индуцировалась чудовищная энергия внезапно озаренного сознания: эти руки — его руки.

Сухие, с далеко выдвинутой в локте костью и длинными, тонкими, как деревянные бруски из детского «Конструктора», пальцами, они были чужды мускулисту, с четким, упругим рисунком телу Альберта: это были руки Дон-Кихота, прилепленные к торсу Геракла. Но еще фантастичнее был их цвет — подсиненных свинцовых белил, сплошь зарешеченных тончайшими черными волосами. Даже теперь, при свете утреннего солнца, они были из мира полярных снегов и голубого полярного месяца.

Сначала Альберт молча перевел взгляд на свою грудь, загорелую, с золотистыми курчавыми волосами, под которыми ближе к краям глянцево краснели три рубца, потом на руки, потом опять на грудь и закрыл глаза. Ягич наблюдала за ним безотрывно, нисколько не скрывая этого, но спокойно, с той профессиональной уверенностью, которая даже необычным ситуациям придает оттенок заурядной будничности.

— Чьи это руки? — прошептал Альберт, и, так как ему показалось, что она не услышала его шепота, он повторил громко, как на допросе: — Чьи это руки?

— Ваши, Альберт. А раньше — Сергея Чудновского.

— Пианиста?

— Да, пианиста.

— Ему было семьдесят два?

— Да, Альберт, семьдесят два.

— Доктор, сколько же мне? — Он ждал, но она не отвечала, и тогда он заговорил снова: — Допустим, доктор, вы выходите за меня замуж: кто будет обнимать вас, Альберт Валк, физик, двадцати девяти лет, или Сергей Чудновский, пианист, семидесяти двух лет? Хотя нет, давайте проще — сколько лет человеку, руки которого на три года старше его отца?

— Не надо, Альберт, — она взяла его руки, положила кисть на кисть и сжала крепко, как озябшие руки ребенка, — это твои руки, понимаешь, твои.

Глаза Альберта были по-прежнему закрыты. У правого, на полпути к виску, застряла слеза. Ягич высвободила руку, чтобытереть ее, но Альберт стремительно повернул голову и прошелся щекой по подушке.

Она засмеялась:

— Мальчик, мальчик, а сколько тебе лет?

— Ему? — Валк стоял в дверях, чересчур большой и чересчур бодрый. — Это вы у меня, доктор, спросите, сколько ему лет.

Усевшись на койку, Валк взял руки Альберта и, приказав сопротивляться, согнул их в локте и запястье. Затем, перебирая пальцы, снова приказал сопротивляться — сильнее, сильнее, еще сильнее! — и, наконец, хлопнув его по плечу, сказал громко и весело, как детский доктор мальчику, тяжело переболевшему:

— Все в порядке, сын. Можешь играть руками в футбол. Через неделю — вон из моей клиники.

— Отец...

— Я слушаю.

— Почему именно эти руки? Разве...

— Да, Альберт, были и другие. Но нужны были эти, именно эти — руки с огромной памятью. Гениальные руки.



МОЙ СТАРШИЙ БРАТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Мне было тогда двенадцать лет. Двенадцать с половиной. Грязный мартовский лед, не лед даже, а просто слежавшийся, утопанный снег только что сошел, и плиты черного вулканического туфа под моими ногами были чисты, как черные камни, обкатанные морем. Я не знал, как называются черные камни, обкатанные морем, но плиты под моими ногами были вулканической породы — это я знал точно. Это в Одессе все знают точно.

Оранжевое солнце, больше гигантского купола Успенско-

го собора, смотрело мне прямо в глаза, и, когда я закрывал утомленные глаза, передо мною играли лиловые, пламенные и зеленые кольца. Кольца наплывали друг на друга, но раньше или позже все они растворялись, уходя в черноту справа от меня. Я не могу объяснить, почему они уходили именно вправо, а не влево или вниз. Наверное, есть у них какой-то свой закон.

Дворовый пес Бобка, этой весной вдруг оценившийся сразу шестью щенками, стоял рядом, жмурясь на закатное оранжевое солнце. Я закрыл Бобке глаза поплотнее, чтобы он тоже увидел, как играют цветные кольца. Но Бобке не понравились цветные кольца: увернувшись, он слегка пощупал меня клыками.

— Нет,— сказал я,— ты сделаешь, как тебе велят.

— Нет,— сказал Бобка и, пощупав меня еще разок, только уже не слегка, побежал в дровяной погреб, к своим щенятам.

Это было обидно: значит, Бобке совсем не нравятся пламенные кольца.

Но почему? До этого случая наши вкусы всегда совпадали. Я говорю не обо всем, я говорю лишь о том, что мне никогда не надоедало, что я готов был делать всю жизнь без устали и что, по глубокому моему убеждению, было настоящей жизнью, потому что, когда тебя заставляют, это уже не жизнь.

Мы с Бобкой слонялись по городу, простаивали у витрин, и нам было безразлично, что в этих витринах — колбаса, конфеты, будильники, плюшевые медведи, парусиновые туфли на резиновом ходу или плащи под огневыми буквами в руках у Буратино: «Дети, тети и дядья, плащ нам нужен от дождя...»

В теплые дни мы с Бобкой ходили на Массив. Массив — это пляж между портом и Ланжероном. На Массиве нет

песка, там одни плиты, всегда зеленые и скользкие, потому что просыхают они только в штиль. А штиля у наших берегов почти никогда не бывает.

От Массива в море уходят деревянные сваи. Я не знаю, кто и для чего поставил эти сваи. Может, рыбаки крепили к ним сети или баркасы, а может, начали строить что-то большое и передумали.

Сваи всегда окружены цветными, отливающими на солнце синевой, как чешуя скумбрии, кольцами. Эти кольца — от нефти и керосина, которые оставляют за собою огромные танкеры и морские трамваи.

Мы с Бобкой по три часа подряд рассматривали эти кольца. У них своя жизнь, совсем не похожая на нашу. Они растут, вытягиваются, ощупывают друг друга, сливаются или, наоборот, дwoятся — и все это на глазах.

Бобка всегда следит за ними, склоняя голову то влево, то вправо. Он всегда так, когда бывает очень заинтересован или удивлен. Он и на котов так смотрит, если те не бегут от него, задрав хвосты, а станут как вкопанные и уставятся — глаз в глаз.

Почему же Бобке не понравились пламенные кольца, которые еще ярче тех, из керосина и нефти?

А может, он не увидел их, эти кольца? Может, у него просто боль была, когда я нажал ему на глаза, а колец вообще не было?

Но как же это? Значит, глаза у него не такие, как у меня, и он не видит того, что вижу я? Постойте, но если я вижу кольца, значит они есть. А если он не видит? Значит их нет?

А невидимые следы? Собака чует их, а человек нет. А если бы не было собак, тогда что? Тогда мы ничего не знали бы об этих следах и считали, что их нет? Хотя не то: мы просто не думали бы о них, потому что нельзя же думать

о том, чего нет и что даже названия не имеет. Бога вот нет, но он хоть название имеет. А тут ведь и названия никакого не было бы.

А микробы и атомы? Ну, их-то никто не видит — ни человек, ни собака, ни птица. Это понятно: они очень маленькие.

Хотя нет, это тоже непонятно. Когда я летел на самолете и смотрел вниз, коровы были маленькие, как телята в мультфильме. А если подняться выше, то и вовсе не увидишь их. Значит, если бы люди всегда находились на такой высоте, они даже не знали бы, что есть такие животные — коровы?

А каким же видит меня Бобка? Тоже, наверное, с четырьмя лапами, как у него. И вообще, может, только сами люди видят себя такими, людьми, а собаки видят нас по-своему, куры — по-своему, пауки и пчелы — по-своему?

А один раз, когда я нырял за крабами, мне вдруг показалось, что я осьминог. И даже на берегу, хотя было солнце, и люди, и рядом лежал Бобка, мне все равно казалось, что я осьминог и глазищи у меня здоровенные и страшные, как у осьминога. Бобка всегда смотрит мне в глаза, а в этот раз воротил морду, как от карбида или спички.

Когда мама узнала про осьминога, она сказала, счастье еще, что не ишак какой-нибудь или баран, но вообще, конечно, надо ожидать и того и другого.

— Зина, это пройдет,— объясняла маме тетя Оля, наша соседка.— Это переломный возраст. Сколько ему? Двенадцать? Ну, у каждого по-разному. У моей Таньки регулы начались в десять.

— Бог с вами. Оля, так то совсем другое.

— Почему другое? У девочек так, а у мальчиков так.

— Но у других дети как дети.

— Зина,— взмолилась тетя Оля,— это же природа.

— Да,— вздохнула мама,— природа. Отец его тоже был с фантазиями. Даже с фронта он почти каждый день писал, что видит и слышит меня постоянно и может расписать весь мой день по минутам, как будто я рядом, совсем рядом.

Папу своего я не видел. Папу убили десятого мая в австрийском городе Линц, а я родился три месяца спустя, в августе сорок пятого. Но папа часто снится мне. Раньше часто, а теперь не очень — теперь, когда я присматриваюсь к папе, почти всегда оказывается, что это не папа, а мой старший брат. И мне никогда не бывает это удивительно, хотя никакого брата у меня нет. И еще: когда вместо папы появляется мой старший брат, я не злюсь и досада не берет меня. Наоборот даже.

Но так бывает только ночью, а днем не так. Днем папа — всегда папа, и это не имеет значения, что он обязательно заслоняет собой кого-то другого. Кого? Иногда мне кажется, его — моего старшего брата.

Сейчас я опять думаю о папе, и у меня такое чувство, будто должна появиться рука, рука остановит уходящее солнышко, остановит кольца, я открою глаза — и увижу папу.

Я открыл глаза и увидел его. Нет, не папу — папу убили тринадцать лет назад в Австрии. Я увидел нашего нового соседа, который живет на первом этаже, — человека со странностями. Это моя мама о нем так говорит: человек со странностями. А тетя Оля поправляет: «Скажите лучше — просто идиот. Вчера я повесила сушить белье во дворе, а он взял и перерезал веревку». — «Оля, — напоминает моя мама, — но он же просил вас не заслонять ему окно». — «Я вас не понимаю, Зина, — кипятится тетя Оля, — что, у него руки отвалятся, глаза выпадут, если белье немножко повисит перед его окном? Пусть хоть посмотрит на белоснежную простыню — он же спит на голом матраце». —

«Да,— соглашается в конце концов мама,— он очень странный человек».

Странный человек стоял рядом и смотрел на меня. Просто так: стоял и смотрел. Я даже оглянулся: нет ли кого за мной, позади? Нет, позади никого не было — это он на меня смотрел.

Зачем? Так смотрят только немые дети.

— Солнце заходит,— кивнул он, кивнул просто, как будто мы уже целый час разговариваем.

Я тоже мог сказать, что заходит солнце, но к чему? Он видит, я вижу, все видят — к чему же говорить об этом?

— А утром солнце другое,— сказал он.— Тебе не кажется это странным?

Нет, это не казалось мне странным.

— Утром и вечером углы склонения солнца над горизонтом тождественны. Равные, значит. А ты в каком классе? А-а, в пятом, ну ничего. В пятом, значит,— повторил он, — в пятом. Это хорошо, что в пятом. Ну ладно, я пошел.

Он не попрощался со мной, он сказал только эти слова: «ну, я пошел»,— и сощурил глаза, как будто у него сердце схватило. Мама всегда так, когда у нее сердце схватывает. Но она еще руку кладет на грудь, а он нет — только глаза сощурил. Но они у него другие, не похожие на мамины. Я уже видел такие глаза, я видел их много раз, даже вот перед самым его приходом видел. Но где? Ведь я все время здесь, у ворот, я никуда не уходил, ни с кем, кроме него, не разговаривал.

Где же я видел эти глаза?

За уроки я сажусь в девять — раньше не получается. Был бы отец — все было бы по-другому. Это мама говорит тете Оле, а тетя Оля каждый день объясняет мне, что

нельзя быть сволочью, что надо щадить родную мать, тому что две мамы никому не даются. Даже королям.

Я знаю, что две мамы никому не даются. Но почему они не понимают, как это противно — делать уроки! Чуть ся-дешь — сразу чесотка нападает. Волосы даже чешутся: под-дергаешь — пройдет, а потом опять. И так час, два, три, в общем пока уроки делаешь.

Где же я видел эти глаза? Может, у него и видел? Нет, его глаза перед мной, а те, другие, где-то сзади, я за-тылком их чувствую. И голова тяжелеет от них, повернуть даже трудно бывает. Ну, не то чтобы очень трудно, а вро-де сила какая-то дополнительная нужна, вроде резина тугая держит тебя, а ты ее растягиваешь. Когда у меня после гриппа шея болела, тоже так было — я голову впе-ред, а резина ее — назад. Запрокинешь — сразу легче ста-новится.

Задачу сегодня нам дурацкую задали. Про сапоги. Сколь-ко штук сапог нужно приготовить для городка, третья часть обитателей которого — одноногие, а половина остальных хо-дит босиком?

Разве бывают такие города, где каждый третий житель — одноногий? Значит, и дети там одноногие есть и женщины. Я за всю свою жизнь только один раз видел мальчика без ноги: под трамвай, наверное, попал. А женщины ни разу не видел. Без руки одну видел, а без ноги — нет, ни разу.

Если вечером задача не получается, лучше отложить ее на утро. Утром все понятнее. А если и утром не получит-ся, можно на перемене скатать. Или просто сказать: забыл тетрадь дома. За тетрадь, которую забыл, двойку не поста-вят. Мама плачет, когда я приношу двойки. Раньше она возмущалась, всплескивала руками, кричала, что разбойни-ки и палачи — ангелы по сравнению со мной, а теперь про-

сто плачет. Сядет за стол, уткнется в скатерть лбом, руки опустит — и плачет.

Мне, когда я смотрю на нее такую, убежать хочется. Совсем. В Африку — к верблюдам, антилопам, зебрам. У нас в зверинце есть верблюды, антилопы, зебры. Они добрые, они руки мне лижут. И вдаль смотрят, на юг, где солнце. А зебры плачут — я видел у них слезы. Слезы были черные, как черные полосы, которые у зебры под глазами и на спине.

А задача не получается. По-моему, эту задачу никто не решит. Если бы хоть известно было, сколько людей в городке, тогда другое дело. А так ничего не известно: одна треть — одноногие, половина остальных босиком ходит. А одна треть от чего? Половина от чего?

Наверно, я пропустил что-то, когда условие списывал. Точно, пропустил. У меня бывает так: все списал как надо, а потом, смотришь, чего-нибудь не хватает.

Ладно, утром пораньше встану, еще попробую. Хотя утром всегда досада берет, что вечером не сделал, но раз не получается, зачем ломать зря голову.

Диван у меня хороший, я люблю свой диван. И одеяло люблю, и подушку. Неприятно только, когда пододеяльник новый и простыня новая. Особенно накрахмаленные. Все вроде чужое, холодное в этот вечер, даже диван.

Мама спит. А может, не спит, может, дремлет. Но все равно, спит или дремлет, она упирается подбородком в грудь и обхватывает себя руками, как будто защищается от чего-то. И еще ноги подбирает, так что делается совсем маленькой. Как старушка. Маме — тридцать семь, в три раза больше, чем мне. А мне кажется, что я старше мамы, что я никогда не рождался, что я всегда был и все было такое же, как теперь, — солнце, и люди, и деревья, и наша комната. Я читал про гигантских звероящеров, что они мог-

ли бы свободно заглянуть в окно третьего этажа с мостовой.

Против нашего окна — каштан. Его ветки царапаются в стекла. Днем не слышно, а ночью слышно. Бывает, и ветра нет, и птицы не садятся, а он царапается, стучит, возится всю ночь напролет.

И сейчас возится, и я не могу заснуть. Отчего это он возится? Может, от соков, которые в нем ходят? Или ему просто хочется так — стучать в окно? Но деревья не могут хотеть, у них нет мозга. У кого нет мозга, тот не может хотеть. А червь? У него ведь тоже нет мозга. И у гусеницы нет, и у медузы. Один раз при мне медуза всосала в себя краба, и я сквозь ее зонт, синий с розовыми жилками, видел его. Он был неподвижный, с растопыренными клешнями и лапками, как заспиртованный в банке.

Медузы бывают огромные — с ведро, с бидон. Они похожи на собачьи грибы: тоже с одной ногой, но очень толстой и растрепанной внизу, как будто на одной ноге целая дюжина стоп.

Если бы они умели танцевать, они танцевали бы на этой своей одной ноге с дюжиной стоп. И был бы у них город одноногих, и все они, одноногие с двенадцатью стопами, были бы босые, потому что в воде не нужны туфли. Только в скалах они надели бы туфли, чтобы не пораниться. В скалах пораниться — это запросто, и как ни зажимай рану, а кровь хлещет и вьется бешено, будто змея, которой отрубили голову.

За буйком есть скалы — в том месте, где вода чернильно-синяя, почти черная. Я не люблю это место, я боюсь его. А они тащат меня туда. Зачем они тащат меня? Я же сказал им, что не хочу туда, что боюсь. А они тащат. «Ну, не надо, я же прошу вас: не надо. Я же честно сказал: мне страшно». А они смеются, они ничего не понимают, они

не люди. Ох, как гадко они смеются! Нет, это люди, переряженные одноногие люди, и они хотят утопить меня. И они утопят меня, они утопят меня...

Когда они зажали мне рот, закрыли глаза и я перестал дышать, кто-то схватил меня за волосы и дернул, так дернул, что все те, переряженные, разлетелись маленькими серебристыми рыбешками, и я увидел, что это фиринки, которые боятся всего на свете, даже морских коньков, даже мидий. И мне сразу стало легко дышать.

Я проснулся. Горела настольная лампа. Мама спала, обхватив себя руками. Было без пяти минут одиннадцать. Значит, прошло всего пять минут, а мне совсем не хотелось спать, и я точно знал, что проснулся для того, чтобы решать задачу, и, самое главное, решение уже было готово в моей голове.

В городке двенадцать жителей, одна треть их — одноногие. Значит, им нужно четыре сапога — по одному на человека. Половина остальных, то есть четыре жителя из восьми, ходит босиком, а четверым обувающимся нужно восемь сапог. Всего, значит, двенадцать: четыре плюс восемь — двенадцать. Стало быть, число сапог равно числу жителей.

А что, если жителей триста, тысяча или пять тысяч? Ведь таких городков, где двенадцать жителей, не бывает. Я пересчитал, и опять получилось то же: в первом городке — триста сапог, во втором — тысяча, в третьем — пять тысяч. Значит, при таком условии, как в задаче, число сапог всегда будет равно числу жителей.

Я хотел разбудить маму и сказать ей: «Послушай, какую трудную задачу я решил». Я даже руку на плечо ей положил, чтобы растормошить. И раздумал.

Я лег. Настроение у меня было хорошее. Очень хорошее, как тогда, в июне, когда я наловил за день двадцать девять бычков. В городе, на Ласточкина, Гаванной, Дериба-

совской, все смотрели на меня и удивлялись: «Киты прямо, а не бычки. Продашь, мальчик, а?» — «Нет,— говорил я,— не продаются». — «Не продаются?» — «Не продаются!»

И так я до самого вечера ходил по городу, и прохожие оглядывались на моих бычков и просили уступить хоть полвязки.

Может, все-таки разбудить маму и рассказать про дачу?

— Мама,— я три раза подергал ее за плечо, прежде чем она услышала,— мама, проснись.

Она смотрела на меня испуганно, потому что не проснулась еще, хотя глаза ее были открыты.

— Мама, ты спишь в одежде. И в туфлях.

Она долго, с остановками, раздевалась и стелила постель. За это время я мог двадцать раз вспомнить про задачу, но теперь мне уже не хотелось этого, теперь у меня было такое чувство, как будто кто-то большой и сильный все видел, все слышал и все знает про меня, и про бычков, как я ходил с ними целый день по городу, и про задачу, и про то, почему я хотел разбудить маму.

На следующий день все получилось по-моему; только три человека решили задачу.

— И ты? — удивился Николай Иванович.

— Да,— сказал я.

— Сам? Без посторонней помощи?

— Сам.

Николай Иванович пожал плечами.

— Ну, иди к доске.

Я записал на доске решения для двенадцати, для трехсот и для пяти тысяч жителей. И в конце сказал: очевидно, при любом населении города число жителей и число сапог при данном условии будут тождественны. Равны, значит.

— Нет,— сказал Николай Иванович,— эту задачу ты

сам решил, теперь у меня нет сомнений: слова чужие говоришь.

Когда я что-нибудь хорошее сделаю, учителя обязательно не верят мне. Раньше я обижался, а сегодня — нет, ничуть.

— Пожалуйста, Николай Иванович, я могу решить еще десять, еще тысячу таких задач, если надо.

— Хорошо, — сказал Николай Иванович. — В тридцать восьмом году Петров был втрое старше своего сына, а в пятьдесят шестом — вдвое. По сколько лет им было в тридцать восьмом году?

— Пятьдесят четыре и восемнадцать. А теперь — семьдесят два и тридцать шесть.

— Чудеса, чудеса, — повторил Николай Иванович. — Да ты, брат, просто талант. Как это у тебя получилось?

— Не знаю. Просто умножил восемнадцать на три, что-бы втрое больше было, а потом прибавил по восемнадцати.

— Ну, это случайность, — поморщился Николай Иванович. — Хотя нет, сначала мы имеем три части и одну, потом, прибавив к ним по единице, получаем четыре и две. И никакой тебе алгебры.

— Еще, еще, — закричали ребята, — пусть еще решит!

— Ладно, — согласился Николай Иванович. — В одном ящике хранятся тридцать три пары белых носков и двадцать одна пара черных. Повторяю: тридцать три пары белых и двадцать одна пара черных. Дело происходит ночью, в комнате погас свет. Сколько нужно извлечь носков, чтобы наверняка получить пару одноцветных?

Николай Иванович еще не успел закончить условие, а у меня уже был готов ответ — три. Я ничего не решал, я даже не думал и запоминал, сколько было носков, я просто почувствовал это число — три.

— Три, — сказал я, и ребята захлопали, а Николай Иванович закрыл глаза и стал протирать веки.

Потом, когда ребята успокоились, он сказал мне:

— Подумай хорошенько и запиши на доске подробно решения, которые ты проделал устно.

Я думал, думал, но ничего придумать не мог, потому что никакого хода решения у меня не было, а просто сразу появлялся готовый ответ.

— Но ты же чувствовал что-нибудь при этом?

На этот вопрос я тоже ответить не мог, потому что ничего такого не чувствовал. Наоборот, в это время я даже вообще не чувствовал и не думал — все вроде останавливалось во мне, а ответы я просто вспоминал, как будто все эти задачи уже слышал прежде.

Вечером мы с Бобкой опять стояли у ворот. Солнце спряталось за куполом Успенского собора, и оно было такое огромное, что купол не мог закрыть его. Потом я увидел солнце в Бобкиных зрачках: солнце было черное, блестящее, а небо вокруг него голубое, почти настоящего голубого цвета. Я поднял Бобку за передние лапы и стал глядеть ему в глаза, а он отводил голову то влево, то вправо, чуть только мы встречались взглядами. Тогда я присел и стиснул Бобкину голову руками. Теперь в его глазах можно было рассмотреть все — и солнце, и купол, и деревья, и даже ветки деревьев. Но смотреть на меня Бобка не хотел: глаза его были скошены в сторону, веки и ноздри подрагивали, как будто его обкуривали папиросным дымом.

Сейчас прикажу ему: смотреть! В глаза смотреть! В глаза.

— Боб!

Я еще ничего не приказал, я только хотел поймать его взгляд, а он вдруг стал скулить и рваться изо всех сил, так что повалил меня наземь, на чугунную плиту с молнией.

Подымаясь, нет, даже еще раньше, лежа на этой чугун-

ной плите с молнией, я увидел его, нашего соседа, человека со странностями. Он ничего не сказал про мою возню с Бобкой, он только смотрел на меня, точь-в-точь как вчера: просто смотрел. А потом, когда я поднялся и стряхнул пыль, повторил вчерашние слова:

— Заходит солнце.

— Заходит,— сказал я.

— Ты понял, почему утром и вечером солнце разное?

— Потому что дома в городе разные и тени в разные стороны падают: утром сюда, а вечером туда.

— Туда—это в сторону моря, на восток.

— А в море солнце утром и вечером одинаково? А в пустыне? В пустыне?

— В пустыне я не был. И в море, далеко от берега, тоже не был.

Он задумался. Он думал о чем-то своем, это я видел по его глазам: они были далекие, как глаза льва, который всегда смотрит поверх людей. Я уже раз двадцать ходил в зоопарк, и еще не было случая, чтобы лев смотрел в глаза человеку: люди остаются где-то внизу.

— В пустыне, — это он не мне говорил, это он просто вслух рассуждал, — бывают миражи. Грандиозные, феноменальные миражи. Миражи губят людей. Природа забавляется, а люди гибнут.

Почему люди гибнут в пустынях, я знаю давно: в пустынях нет воды. Но почему природа забавляется? И как? Природа не может забавляться, у природы нет мозга.

— Ты прав, — сказал он, — природа не умеет забавлять-

А ты читал о мираже?

— Читал, но не понял. Понял только, что люди видят то, чего нет.

Он рассмеялся. Это он в первый раз смеялся, человек со странностями, и глаза у него стали добрые и лицо, и я уви-

дел, что он совсем молодой, ну, лет двадцать семь, как моему папе на фотографии, где он с мамой двадцать первого июня сорок первого года, в субботу — двадцать первого июня.

— Нет, — сказал он, — люди видят то, там, где есть.

— Где же оно на самом деле?

— На самом деле оно в другом месте.

— И там, в другом месте, его тоже видят?

— Тоже. — Он уже не смеялся, он опять задумался, только в этот раз он смотрел на меня, прямо на меня. — Именно там видят правильно. То, что есть, видят.

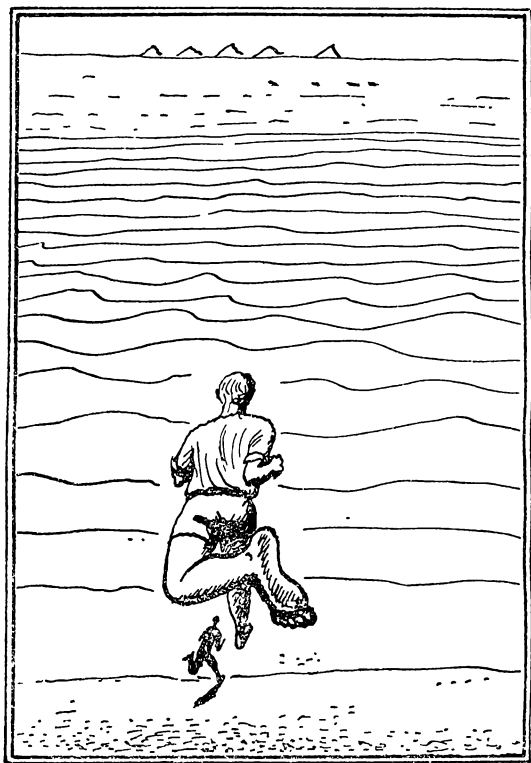
Вечером, в пять минут двенадцатого, я учил стихотворение Пушкина «Зимнее утро». Стихи были про вьюгу, про мутную луну, про белый снег и чернеющий лес, но ничего этого я не видел: все время меня окружало что-то желтое, знойное, зыбкое.

Стихи распадалась, это были уже не стихи, а просто случайные, бессмысленные слова, окрашенные в желтое.

Желтые слова круглились, сливаясь в огромное желтое пятно, окрашенное синим.

«Это шар, — объяснил я себе, — нет, не шар, а глобус, и желтое пятно на глобусе — Сахара, самая большая в мире пустыня».

Потом на этом желтом пятне появились жирафы, львы и антилопы. Они были нарисованы. Я люблю карты по географии, где нарисованы звери. Но глобуса с картинками я еще никогда не видел. А этот глобус был с картинками, с огромными желтыми, как пески Сахары, картинками. А потом, среди этих нарисованных зверей, я вдруг увидел себя, увидел, как подбирается ко мне из-за бархана лев, и я хотел предупредить себя об опасности, но тут же подумал, что не надо зря пугать того меня, который в песках, потому что лев не



настоящий, а нарисованный. И тут лев прыгнул и непонятно почему перелетел через меня, зарывшись мордой в песок, а я побежал, и бежал изо всех сил, и думал, что, как ни далеко море, надо добежать, потому что львы не умеют плавать и море — это мое спасение.

И сразу, только я подумал о море, появилось море, но это было не Средиземное, не Красное, это было наше, Черное море — в том месте, где на Большом фонтане патриаршая дача с фуникулером.

Я крикнул: «Не прыгай, здесь высоко, здесь скалы!» Но было уже поздно. Я услышал эти слова в воздухе и успел еще подумать, что надо бы спланировать, но какая-то сила толкала меня в спину, и я врезался в скалы, и сразу, как только я врезался, скалы забились в красном, и это красное выло сиреной, как пожарные машины, когда они спешат на пожар.

И меня не стало. Я совершенно точно знал, что меня уже нет, но человеческая рука судорожно тискала мой затылок и волокла меня из красного. Я чувствовал боль в затылке и удивлялся: «Как же это — меня нет, а я чувствую боль в затылке?»

И вдруг я увидел солнце, оно било мне прямо в глаза, потому что я лежал на песке лицом к небу. Я был счастлив, я опять вернулся к жизни, и хотя в моем возвращении было что-то недостоверное, облегченное, как всегда во сне, когда совершается физически невозможное — полет в воздухе, прыжок через трехэтажный дом с плавным спуском, — я чувствовал себя освобожденным, наконец, от смерти, которая только что еще была действительностью и вдруг перестала быть действительностью, потому что все прежнее, сопряженное с ней, было сновидением: и глобус с ожившими львами, и погоня, и красное, воющее сиреной, и боль в затылке, которого нет.

— Проснись, — сказала мама, — разденься и ляг в постель: утром доучишь.

— Почему «проснись»? Я не спал.

У меня на самом деле было такое чувство, будто я не спал, а вернулся откуда-то издалека, даже не очень-то издалека, потому что время, которое мне понадобилось на возвращение, было чересчур коротко.

— До Стамбула, — сказал я, — теплоходом двое суток. А самолетом час. Черное море — маленькое.

Мама посмотрела на меня удивленно, покачала головой и приказала немедленно раздеваться и еще чтобы уроки я делал только днем и не смел сидеть до полуночи.

— Нет, — сказал я маме, — пока не выучу уроки — не лягу.

А она подошла сзади и, расстегивая на мне пиджачок, стала приговаривать:

— Это с лодырями бывает. Бывает.

— Нет, — сказал я опять, — пока не выучу, не лягу.

И еще до того, как мама, отступив, пощупала мой лоб, я знал, что она сейчас отступит, пощупает мой лоб и скажет: «Хорошо». И повторит: «Хорошо, но имей в виду — уже четверть двенадцатого». А потом ляжет, прикроет глаза рукой, как будто свет мешает ей, и будет наблюдать за мной в щель между пальцами.

— Свет мешает, — голос у мамы был сонный, — безумно хочу спать. Я еще днем хотела. Весной у меня всегда так: день и ночь спала бы.

Я улыбнулся: это было очень забавно, как мама старается уверить меня, что просто очень хочется спать и ничего другого, никакого беспокойства, никакой тревоги.

А потом, когда я сказал маме: «Ты спи, спи!», мне показалось вдруг, что она совсем еще маленькая, совсем еще ребенок, который спрятался за дверью и кричит: «Меня не-

ту!» — и думает, что одурачил всех, потому что взрослые после этих слов бросились искать его и хотя нашли, но сначала долго искали, в холодильник и телевизор даже заглянули.

— Спи, — сказал я еще раз, — спи.

— Угу, — ответила мама, и я чувствовал, как мама засыпает, как легко ей становится, как расслабляются шея, руки, ноги.

В комнате было очень тихо. Потрескивали обои, тикали часы, жужжал счетчик. Звуки витали в тишине, как пылинки в воздухе, не загрязняя его.

Через три минуты я выучил стихотворение. Я не знаю, как это получилось, потому что прежде мне нужно было не меньше часа, чтобы выучить такое стихотворение. А читать его твердо, без запинки, я мог только через день или два.

А теперь я даже не повторял его про себя, я просто захлопнул книгу и больше не думал о нем и вообще ни о чем не думал.

Мне было очень приятно, как ранним летом на пляже в Крыжановке: над головой бурый глинистый обрыв, над обрывом солнце, а вокруг никого — только песок, галька, черные пупырчатые мидии в зеленой тине да обкатанные мазutom щепки, которые море выбрасывает на берег.

Откуда эти щепки? Может, от разбитых в бурю судов? Может, они побывали у крымских, кавказских или турецких берегов, эти щепки?

Один рыбак говорил мне, что это просто дрянь, которую люди сбрасывают в море, а море — не земля, море не любит грязи.

Не знаю, может, он говорил правду, этот рыбак, только я всегда думаю о разбитых парусниках, когда нахожу эти щепки. И о людях, которые в последний раз видели солнце и знали, что видят его в последний раз.

Я тоже два раза тонул — оба раза из-за судороги. Но когда становилось очень плохо и я чувствовал, как ухожу от солнца, у меня обязательно появлялось ощущение, будто кто-то очень сильный выталкивает меня из воды. В первый раз это был папа, а во второй — мой старший брат.

Я и раньше думал о нем, о своем старшем брате. Но раньше он был далеко, а теперь почти всегда рядом. И, даже уходя, остается где-то рядом, и я знаю, что стоит мне только позвать его — он придет на помощь. А потом опять уйдет — уйдет, не сказав ни слова.

Я выключил свет, укрывшись поплотнее одеялом и поджал, сколько мог, ноги. Звенели бубенчики, искрился на солнце снег, синела подо льдом речка, и стыли на морозе голубые сосны. Сосны были огромные, как эвкалипты, и удивительно спокойные. Спокойные и добрые, как слоны, которые греются со своими детенышами на солнце.

Мой брат был где-то рядом. Тепло, которое я чувствовал, это было его тепло. Оно обтекало мои плечи, затылок и ложилось плотно, как компресс на грудь.

Мы с братом никогда не разговариваем. Нам незачем говорить, потому что он всегда точно знает все мои мысли, все мои желания и всегда со мной заодно. Я никогда не называю его по имени, он без имени, он просто мой брат. Мой старший брат.

Я засыпал, а брат стоял рядом. Он был задумчив и серьезен, и мне казалось, что он чем-то озабочен.

А потом, когда я заснул, он быстрым шагом пошел по пескам, и я побежал за ним. Он знал, что я бегу за ним, но не останавливался, а все ускорял шаг и, наконец, побежал. Я хотел крикнуть ему: «Остановись!» Но я не мог кричать, потому что воздух был очень горячий и обжигал язык, а он все бежал, и вдруг я понял, почувствовал, что он бежит к тем вот пирамидам на горизонте. Они были далеко, они были

бесконечно далеко, эти пирамиды, которые все время, сколько ни бежали мы, оставались на горизонте.

И тут меня поразила страшная мысль: мы никогда не добежим до пирамид, потому что они на горизонте, а горизонт настичь невозможно. И опять, как в прошлый раз, когда я убегал от льва, внезапно появился обрыв, тот самый обрыв, с которого я прыгнул в море.

Все повторилось точь-в-точь, только красного не было. Вернее, оно появилось, но почти сразу исчезло: я лежал на берегу лицом к солнцу и разводил руки, как при искусственном дыхании. Я не мог понять, почему мне так легко двигать руками — ведь только что я тонул, и это неестественно, чтобы человек, который только что тонул, с такой легкостью двигал руками. Я видел, как делали искусственное дыхание женщине, захлебнувшейся в шторм. Она была неподвижна, она была страшная и безобразная, эта женщина с синим лицом, пока изо рта у нее не хлынула вода. И потом еще долго после этого она не могла даже присесть без чужой помощи.

А мне вот легко, и я лежу просто потому, что хочется полежать, а если надо будет встать, я встану и пойду и пройду сколько надо, хотя бы с Фонтана на Пересыпь. И мой брат, который стоит рядом, прислонившись к обрыву, тоже знает это, и ни о чем дурном он уже не думает, потому что я жив, потому что в этот раз ему удалось спасти меня.

Так вот почему он был озабочен тогда — он не сумел спасти меня в тот, прошлый раз, хотя знал заранее, что я буду тонуть в скалах, где красное. Он знал — и не сумел.

Проснулся я в семь часов.

— Рано, — сказала мама, — ты можешь поспать еще с полчаса.

Но мне не нужны были эти полчаса, потому что семь часов — это мое время.

— Странно, — сказала мама, — раньше у тебя своего времени не было. Двоек, наверное, нахватал? А?

— Нет, — сказал я.

Я знал, что мама верит мне, только всякий раз, едва я поворачивался спиной, она останавливалась и тревожно разглядывала меня. Я чувствовал на себе этот ее взгляд, но делал вид, что ничего не замечаю, хотя я ненавижу эту привычку подсматривать из-за угла.

Из дому мы выходим с мамой вместе. Прощаясь, она задает мне всегда один и тот же вопрос: «Может, тебе дать еще денег на булочку?» И сама же отвечает: «Дура я, как будто не знаю, что все равно он на пистоны истратит их».

Это правда: я покупаю на эти деньги пистоны, потому что на пистоны мама денег не дает, пистоны, говорит она, просто выброшенные деньги.

— На, вот тебе деньги на булочку, но я, дура...

— Нет, — сказал я, — мне не нужны деньги.

А она стала насильно заталкивать их в карман моего пальто, так что прохожие даже оглядывались на нас. И тогда, чтобы мама успокоилась, я показал ей неистраченные деньги.

— Так много? Откуда?

Сначала я думал, это показалось мне — страх в маминых глазах, — а потом, когда она опять открыла их, я убедился: да, это страх.

— Не беспокойся, — сказал я, — это не ворованные.

— О чем ты говоришь? — ужаснулась она. — Как ты мог об этом подумать?

Я хотел сказать ей, что не надо строить штук, что я уже не маленький и очень хорошо все понимаю, но почему-то ничего этого не сказал, а просто попросил не задерживать меня, потому что скоро звонок и я могу опоздать в школу.

Мама поцеловала меня в лоб. По пути в школу я хорошенько растер лоб пальцами.

На уроке арифметики Николай Иванович опять устроил мне допрос: реши-ка эту задачу, а теперь эту, а теперь вон эту. А потом, когда я решил все задачи, он велел мне вспомнить, не бывало ли со мной ничего такого... ну, скажем, чтобы разные примеры или задачки сами собою решались в моей голове. Или вот еще: чтобы числа, просто какие-нибудь числа, вдруг ни с того ни с сего появлялись у меня перед глазами.

— Нет, — говорю, — ничего такого не было. Наоборот, когда надо было решать задачи или примеры, я всегда думал о чем-то другом.

— А теперь?

— Теперь? Теперь, по-моему, ни о чем.

Ребята стали смеяться, а Николай Иванович подошел ко мне, положил руку на плечо и приказал еще раз хорошенечко подумать.

— А лучше всего вот что: реши-ка еще одну задачу и проследи, как получается решение.

Прошло минут пять, но я все никак не мог взять в толк что к чему. Два раза Николай Иванович повторял условие, а у меня дело ни с места.

— Что это с тобой? — удивился учитель.

— Не знаю, — говорю, — но я не могу одновременно решать задачу и следить за ее решением.

— Ладно, — согласился Николай Иванович, — решай, прежде.

Через минуту, а может, и раньше задача была готова. Пока я был занят решением, Николай Иванович очень внимательно следил за мной, и хотя его лицо было почти рядом, в тот самый момент, когда получился ответ задачи, мне вдруг показалось, что оно мгновенно переместилось сюда откуда-то издалека, что там, вдали, оно было маленьким, а теперь стало большим, как в увеличительное стекло.

— Хорошо, очень хорошо, — повторял Николай Иванович, — очень даже хорошо. А нет ли у тебя такого ощущения, будто кто-то другой решает задачу, а тебе выдает готовый ответ?

Нет, ничего такого не было: просто все происходило само собой. Только прежде, когда я решал задачи, у меня всегда было чувство неуверенности, а теперь я твердо знал, что все правильно. И еще одно: кто-то очень большой и сильный доволен мною. Я понимал, что этим большим и сильным был мой старший брат, но иногда почему-то казалось, что это не брат, а другой человек, с которым я не то встречался, не то ездил куда-то очень далеко, хотя из Одессы я никогда не выезжал.

Не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать об этом ни нашим ребятам, ни учителю и вообще никому.

— Ладно, Женя, — это учитель меня впервые по имени назвал, а так все называют меня по фамилии: Линьков. — Я вижу, у тебя тайна есть.

— Нет, Николай Иванович, никакой тайны у меня нет.

Я говорил очень спокойно и сам удивлялся, откуда у меня такое спокойствие, потому что прежде я всегда волновался, когда хотел что-то скрыть. А теперь вроде все изменилось, вроде я стал сильнее и старше. Мне даже показалось, я стал выше ростом, но это, конечно, ерунда — за несколько дней человек вырасти не может.

Вечером мама жаловалась тете Оле, что со мной творятся странные вещи, что каждую ночь я кричу со сна, а днем как-то странно смотрю на нее и от этого моего взгляда на душе у нее становится нехорошо.

— Оленька, — говорила мама плачущим голосом, — я чувствую, должно произойти что-то нехорошее.

— Оставьте, Зина, — шумела тетя Оля, — вечно у вас какие-то предчувствия. Дитя растет, все растут, и мы с вами

когда-то росли. Вспомните себя: вы были лучше? Вы не были лучше.

— Ну при чем тут лучше,— досадовала мама,— я говорю совсем о другом: мальчик изменился. Я перестала понимать его. Раньше он не хотел делать уроки, обманывал меня на каждом шагу, но я все это знала: и когда он не сделал уроки, хотя уверял, что сделал, и когда он обманывал меня, и когда хотел просто что-то скрыть. А теперь мне трудно смотреть ему в глаза. Я стараюсь делать вид, что ничего не изменилось, а он смотрит на меня такими чужими глазами, что становится холодно под ложечкой.

— Может, — тетя Оля заговорила шепотом, и я услышал только последние слова, — ...как вы думаете, а?

— При чем тут девочки, — возмутилась мама, — он еще с Бобиком наперегонки бегают.

Потом возмутилась тетя Оля, потом опять мама, и так они еще целый час болтали обо мне, но я уже не слушал, потому что неинтересно тысячу раз слушать одно и то же.

В воскресенье я проснулся в семь часов. Было ровно семь — только что у соседей, за стеной, пропикало радио: «Пи-и, пи-и, пи». Раньше по выходным дням я просыпался в десять и до двенадцати валялся в постели: мама сдирала с меня одеяло, вырывала из-под головы подушку, звала первоклассника Гришку, чтобы устыдить меня, но мне вовсе не было стыдно, а Гришке нравилась эта наша кутерьма, и он делал мне знак глазами — лежи, мол, а я посижу.

Но сегодня все было наоборот: я не понимал, как это мама может еще спать, хотя уже так поздно — семь часов. Я тихонько убрал постель, сделал на лестничной площадке зарядку и вернулся в комнату.

— Где ты был? — спросила мама.

— Зарядку делал.

— Зарядка — это полезно, — пробормотала мама, — но почему на лестнице?

— Чтобы не разбудить тебя.

— А-а, — протянула мама, — понятно. А который час?

Я повернул часы циферблатом к маме, но она даже не глянула, потому что и без того знала, который час, а все эти разговоры затеяла для того лишь, чтобы увериться, будто ничего особенного не происходит.

После завтрака я вышел во двор. Никого, кроме Бобки, во дворе не было. Бобка подполз ко мне на брюхе, опрокинулся на спину, задрал кверху лапы и стал ждать, пока я пройду у него под мышками пальцем или носком туфли.

Нет, сегодня Бобка зря ждал, сегодня у меня не было настроения возиться с ним. Слоняясь без толку по двору, я как будто впервые увидел наш дом, увидел, какой он старый, увидел людей, которые жили здесь сто лет назад и черпали воду из колодца в углу двора, потому что водопровода в нашем доме еще не было.

Остановившись посреди двора, я смотрел в небо — мартовское небо без облаков, без птиц. Мне ничего не хотелось. Я думаю, ничего, потому что я перебрал в уме множество всяких вещей — и те, которые можно есть, и те, с которыми играют, — но ни на одной из них не хотелось мне остановиться. Они были мне ни к чему, они были пустые и бессмысленные.

Я постоял у водостока — под землей гудела вода, хотя снег давно уже стаял, а дождей еще не было. Эта вода шла со всех этажей нашего дома. Потом я постоял в парадном, где мраморная лестница и паркетный пол. Здесь, говорят, до революции жил хозяин дома полковник Котляровский. Старуха Малая еще помнит его, она говорит, при Котляровском у нее было четыре комнаты, а теперь — одна. Ему не надо было убегать в Париж, говорит она, он был хороший. Он был

за Советскую власть. А один раз она вдруг спросила у меня, помню ли я его. Я рассмеялся, а она сказала: «Ты, набитый дурак, уходи из моего дома, уходи».

Во дворе было по-прежнему тихо. На первом этаже окна были закрыты ставнями, и только полоски желтого света между створками говорили о том, что люди уже не спят. Во всех окнах были эти полосы, лишь у него, у нашего соседа, человека со странностями, было темно.

И опять у меня появилось это неприятное чувство, когда ничего не хочется, когда носишься с одного места на другое, а остановиться невозможно, потому что так и толкает тебя изнутри: «Иди. Иди».

Пристроившись на сухих камнях, Бобка лакал воду из лужи возле дворового крана. Эта лужа почти никогда не просыхала и была постоянным водоемом для собак, кошек и воробьев. Случалось, воробей прилетал сюда навсегда: кот сбивал его, наполненного водой, лапой в воздухе. Несколько перьев — вот и все, что оставалось от воробья. А через несколько минут прилетали другие воробьи и суетились радостно, как ни в чем не бывало.

Я открыл кран, хотя воды в луже было достаточно. Брызги летели на Бобку, и он все время подозрительно скашивал глаза на струю. Я закрыл воду. Но мне почему-то стало неприятно, что вот пришлось закрыть воду. И тогда я снова открыл кран и смотрел, как наполняется лужа, как дрожит струя, как отрываются от нее капельки воды и летят в разные стороны, так что заранее и не угадаешь, куда именно.

Напор воды все время менялся, и струя то напрягалась, то слабела. Когда струя слабела, мне почему-то становилось не по себе, как будто это не струя воды слабела, а человек или какое-то другое живое существо, которое надо поддерживать, которому надо помочь.

Я бы мог простоять так целый час, но вдруг ни с того ни с сего меня потянуло на фонтан, на дачу Ковалева-ского, к обрыву, где патриаршая дача с фуникулером. Ни у нас во дворе, ни потом в трамвае я не думал о том, зачем ехать на Большой фонтан, если море здесь, рядом — Ланжерон, Массив, Отрада. Нет, я совершенно точно знал, что мне ко-чется именно туда, на фонтан.

Шестнадцатая станция — конечная остановка восемнадца-того трамвая. Дальше, на дачу Ковалева-ского, можно про-ехать девятнадцатым, который идет через мост по улице Амундсена. Я люблю эту дорогу — пыльную, тесную улочку, пересеченную оврагом. Овраг начинается где-то очень далеко в степи и обрывается в скалах, у самой воды.

В туман мне всегда представляется, что с той стороны, где степь, — горы, самые высокие на земле горы. У под-ножья этих гор, на берегу океана, живут бородатые люди, суровые, безмолвные. И собаки здесь не такие, как у нас в городе, — собаки тоже суровы и молчаливы. И самое уди-вительное, туман не ослепляет их — ни собак, ни людей, — хотя даже протянутая рука бесследно растворяется в сыром, тяжелом воздухе. Никто из здешних не боится этого тумана. А мне страшно, потому что исчезает все, и я боюсь прова-литься в пропасть, которая везде, кроме того клочка земли, что подо мной.

Вдали, над морем, туман стоял стеной.

Серая стена на горизонте казалась неподвижной, но небо и море мутнели, сникая в белесой дымке, газовой-зеленой на востоке и почти черной на севере, у горизонта.

По оврагу я спустился к морю. Патриаршая дача была да-леко справа, и дорога к ней вела через скалы, беспорядочно наваленные на берегу и в воде. В каменном лабиринте вода была густой и синей, как синие медузы. И колыбалась она,

как медузы: лениво, немощно, по сто раз натыкаясь на одну и ту же преграду.

Я перебирался со скалы на скалу, цепляясь руками и ногами за скользкие, обкатанные морем выступы. Выступы, покрытые плесенью, были влажны, хотя уже недели две не было ни шторма, ни даже стоящего наката.

Между Фонтаном и патриаршей дачей земля врезается в море мысом. Мыс этот, собственно, уже не берег, а просто отдельные скалы, которые просматриваются только в тихую солнечную погоду. В этих скалах полно крабов, которые часами млеют на солнце, и юрких пугливых фиринок, обнаруживающих себя мгновенными серебристыми всплесками.

Туман приближался к берегу. Унылый, тягучий звон звукового маяка насыщал берег тоской и тревогой. Мне захотелось бежать отсюда, подняться по твердой земной тропинке туда, наверх, где люди. Но я не бежал, я даже не пытался бежать, я даже не сделал шага в сторону, потому что надо было идти вперед — через скалы.

Потом страх у меня прошел, совсем прошел. То есть не прошел, а стал другим — я чувствовал, что опаздываю. Это было глупое, бессмысленное чувство: сегодня, в воскресенье, мне некуда было опаздывать. Но я торопился, потому что не торопиться я не мог, потому что какая-то сила, которая была везде — и в скалах, и в море, и в тумане, — толкала меня, не позволяя ни остановиться, ни даже хорошенько осмотреться.

И я шел вперед — ползком, на четвереньках, бегом и опять ползком. Хотя туман быстро густел, я очень отчетливо видел каждую скалу и заранее знал, где можно будет пробежать, а где проползти или подтянуться на руках.

У поворота скалы круто поднялись вверх, а затем внезапно оборвались. Прежде здесь не было обрыва, прежде

здесь была глыба хрупкого ракушечника, облепленного сверху зеленой глиной. Но ракушечной глыбы больше не было — море опрокинуло ее, раздробило в куски и теперь дробило эти куски на кусочки, которые рассыпались в воде, как песочные сухарики.

Обойдя провал, я выбрался на покатую скалу, которой начинался новый ряд скал; этот новый ряд был последним — за ним открывался песчаный берег, тянувшийся километра на полтора к западу. Берег был пуст, берег был мертв.

Он не нужен был мне, этот берег. Нужное было где-то здесь, в скалах. Я спустился вниз, вода заплескивала мне ноги, но я стоял неподвижно, цепenea в ледяном мартовском море, а потом... потом я преодолел страх и обернулся.

Он лежал здесь, под скалой, и все было так, как я представил себе: правая нога подтянута, руки свисают набок, вправо, и голова тоже набок, вправо. Из правого виска, повернутого к песку, сочилась кровь. Набегая, вода смывала кровь и уносила ее в море.

Я подергал его за руку, оттянул на скалки, чтобы вода не заливала его, а он не приходил в себя, он был без сознания, наш сосед, человек со странностями.

Туман уже не наступал, туман был здесь. Пропитывая скалы, он растворял их, он лишал их контуров, превращая в ничто. Но я видел их по-прежнему отчетливо — и те, что были здесь, рядом, и те, что были наверху.

Нужно было взобраться туда, наверх, чтобы позвать людей. А если шторм, если буря? Нет, уходить нельзя. Надо кричать, надо просто кричать.

Я кричал, я кричал, пока мог кричать, но проклятый туман делал с моим голосом то же, что он сделал с морем, небом и скалами.

А потом я перестал кричать, я положил ему под голову свою шапку и, прислонившись к обрыву, смотрел в туман.

Я ни о чем не думал, я смотрел в туман, который съел землю, съел людей, съел мой голос.

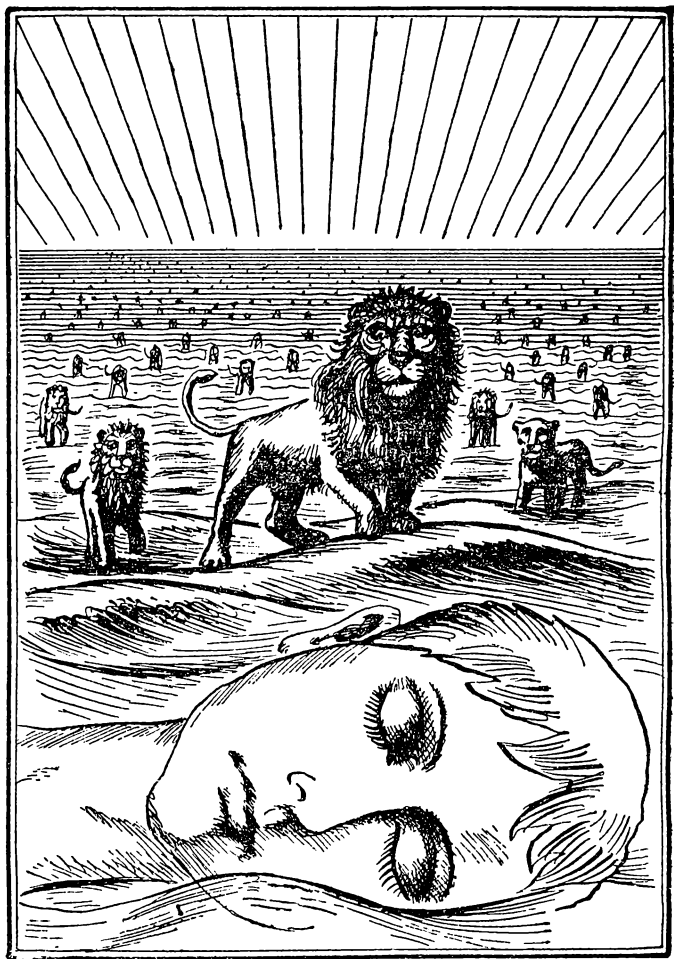
Сначала, когда появилось солнце, я был удивлен. Не солнцем, потому что солнце должно было появиться, а туманом, которого вдруг не стало. Я хотел спросить, где же туман, кто убрал туман, но спрашивать было не у кого, во все стороны тянулись пески, желтые, как желтые тюльпаны, и небо по горизонту тоже было желтым. Желтое — это цвет жизни. Нет, сказал я, жизнь — это голубое и зеленое. Желтое вздохнуло, пошло волнами, и в этих волнах колыхались предметы, огромные, как город. Но всякий раз, когда я пытался рассмотреть их, они вдруг исчезали бесследно, и я никак не мог понять, куда же это они исчезают, если все вот здесь, передо мной.

А потом я понял, что это сон, что во сне часто бывает такое — предметы появляются и пропадают неожиданно, как внезапный, бестолковый страх, тупо ударяющий изнутри, как рожь, вдруг мелькнувшая в беспорядочном нагромождении линий.

Проснувшись, я сказал себе, что самое главное теперь — не заснуть, что ступать по пескам надо твердо, всей ступней, что идти надо все время на юг, и там, на юге, будет голубое и зеленое.

Я шел все время на юг, пока не наткнулся на огромную стену, перегородившую реку. Так вот она какая, великая Садд аль-Аали, подумал я, она больше самых больших пирамид, и даже пирамида Хеопса, которую сто тысяч человек строили тридцать лет, — не более чем могильная насыпь рядом с Садд аль-Аали.

Да, но ведь она еще не построена, как же я могу видеть ее? Нужны еще годы, чтобы закончить ее, нужны дороги со стороны Нубийской пустыни, не верблюжьи тропы, а широкие бетонные дороги для сорокатонных МАЗов. И я здесь



для того, чтобы строить эти дороги и эту плотину Садд аль-Аали, равной которой нет в мире. И тогда я приказал себе: проснись, африканское солнце утомило тебя, проснись.

Проснувшись, я увидел настоящий Нил, не голубой, а желтый, и на том месте, где только что высилась Садд аль-Аали, не было ничего, кроме желтой воды. Возле воды копошились люди с лопатами. На голове у этих людей были огромные пробковые шлемы, и всякий раз, когда надо было что-то записать или нарисовать, они снимали шлемы и делали на них пометки. Они торопятся, объяснял я себе, они археологи, скоро здешние земли затопит навсегда, и они боятся упустить что-то важное. Что-то очень важное.

И вдруг меня охватила тревога: надо немедленно узнать, что же оно такое, это важное? Ведь я все время помнил о нем, я все время думал о нем. И вдруг забыл. Разве о важном можно забыть? О важном нельзя забыть, важное не позволит забыть о себе.

И я помчался на север — туда, где осталось самое важное. Я мчался с такой быстротой, что песок взвивался столбом не только сзади и по сторонам, но даже впереди. И так я все время бежал, окруженный столбами песка, и песок забивал мне дыхание.

И вдруг опять появились они, огромные желтые кошки, — сначала одна, а затем две, три, пять, и, наконец, их стало так много, что я сбился со счета. Не надо считать, говорил я себе, надо только бежать, потому что еще минута — и они настигнут тебя. Кого тебя? Почему тебя? Это же меня, меня самого они настигнут! Нет, не меня, а тебя. Его.

— Кого его? — закричал я. Его нет, есть только я, и сейчас они схватят меня, желтые кошки. Они обязательно схватят меня, если не произойдет чудо, как тогда, в первый раз, когда появился обрыв и под обрывом — море.

Я слышал их дыхание — ровное, спокойное, как во сне,

я видел их глаза, устремленные в одну точку, я видел, как набегают слюна у них в пасти, и от этого их спокойствия мне стало невыносимо тоскливо, и силы оставили меня: я упал, я падал мучительно долго, а потом меня понесли волны моря — мягкие, ласковые, теплые. Они были очень ласковые и добрые, эти волны, они баюкали меня, и откуда-то изда-лека названивали тонкие, как нити серебрящейся на солнце паутины, струны: «Спи, спи, спи».

Я засыпал, я почти не дышал, так легок был мой сон, и вдруг опять появились желтые кошки. Они спокойно ступали по волнам, они приближались не торопясь, потому что знали: он спит, он не убежит, ему некуда бежать.

— Да, — сказал я ему, — тебе некуда бежать: они все заодно — и львы, и волны, и струны, которые усыпили тебя.

И мгновенно, едва я произнес эти слова — нет, даже еще раньше, когда я говорил эти слова, — меня пронизал страх: он — это я. Это меня преследуют львы, это меня укачивают волны, это во мне звенят струны.

Значит, все, думал я, значит, смерть, значит, нет выхода. Но самое удивительное, в это же время я точно знал, что выход будет, что я непременно останусь в живых, потому что какая-то смерть уже была и дважды такой смерти быть не может.

Он возник из ничего, нет, не возник, он просто находился все время рядом, мой старший брат, а я почему-то не замечал его. Как всегда, он не смотрел на меня, как всегда, он видел что-то такое, чего я не видел, и потому был спо-коен. Он не разговаривал со мной, но я чувствовал: ничего такого, чего бы он не знал обо мне, у меня нет. Но почему же он не помогает мне, зачем он медлит? Я хотел крикнуть ему: «Помоги!» Но крик застревал у меня в горле и мешал дышать. И так всякий раз — крик застревал у меня в горле, и каждый глоток воздуха казался мне последним.

И вдруг меня поразила страшная мысль: откуда же воздух, если я на дне моря! Вот скалы — черные, синие, оранжевые; в этих скалах желтые кальмары с гигантскими щупальцами, которые выюся надо мной. Чтобы спастись, я должен укрыться в скалах: в скалах кальмар не достанет меня. Но кальмар опередил меня — он разбросал скалы, и теперь ему нужно сделать последний рывок. А я не могу уже ничего, потому что воздуха здесь, на дне моря, нет, а без воздуха — человеку смерть.

И я закричал. Никогда еще в жизни я не кричал так — челюсти срослись у меня, губы задубели, шея вздувалась и синела с фантастической быстротой. И в тот последний миг, когда кальмар, взметнувшись, сделал последний рывок, ослепительно сверкнуло солнце, и могучие, как хобот слона, руки моего старшего брата схватили меня и швырнули на берег. Потом эти руки нажали мне на грудь — и я выплеснул из себя воду. Воды было невероятно много. Я смотрел и не мог понять, как в человеке может уместиться столько воды — целый пруд, целое озеро зеленой воды с тиной.

— Ты жив, — сказал он, — ты жив, Саша. Я уже целую чность трясу тебя.

— Женя, меня зовут Женя.

— Женя? — удивился он. — Да, да, Женя. А где же Саша? Туман, смотри, какой туман, Саша.

— Женя.

— Женя, — опять поправился он и еще сказал, что с этим пора кончать.

Я хотел спросить, с чем этим, но он уже всгаль и первый вскарабкался на скалу и оттуда, со скалы, подал мне руку. Я ухватился за его руку — она была очень сильная, еще никогда я не держался за такую сильную руку. Мне не хотелось отпускать ее, но прыгать по скалам, держась за руки, нельзя. И так мы шли: он — впереди, я — за ним.

А потом ему вдруг стало плохо, и если бы я не схватил его за руку и не потянул назад, на себя, он свалился бы в расщелину. Позже он говорил мне, что я спас его, потому что расщелина была глубокая, с двухэтажный дом, а главное — с ребристыми, как колотый гранит, стенами.

На улице Амундсена туман был не такой густой, как там, на берегу. Я даже свободно мог прочитать вывески — «Парикмахерская», «Одрыбкооп», «Аптека», — хотя мы все время шли по трамвайной колее.

— Небо чистое, — сказал он, — когда пройдет туман, будет солнце. Ты любишь солнце?

— Все любят.

— Все, — согласился он, — но не все одинаково.

Когда мы пришли на Фонтан, туман быстро отступал к морю, будто клубы зеленого газа, распираемые изнутри и гонимые ветром.

— В городе тумана нет... — он помедлил, а затем произнес уверенно, очень уверенно: — Женья.

Мы сели в машину. Он сказал, что все мальчики любят машины и мы поедем в город машиной.

— Папа, наверное, часто катает тебя?

— У меня нет папы, я никогда не видел своего папу, его убили на войне. В городе Линц, в Австрии.

— Я не знал, что твой отец погиб, — сказал он, — но это очень странно... хотя, нет, ничего странного: просто я был невнимателен — я ведь знал, что у тебя нет отца. Еще раньше знал.

— Сказали?

— Нет, Женья, никто ничего не говорил мне. Ты же знаешь, в нашем доме все считают, что я со странностями. Со странностями — это почти то же, что псих.

Он вдруг рассмеялся, и я сказал ему, что знаю, отчего он такой, со странностями.

— Ну? — он даже привстал, надвигаясь на меня.

— У вас несчастье.

Он смотрел на меня очень внимательно. Но, как тогда у ворот, он не видел меня, потому что думал о чем-то своем. А потом вдруг хлопнул себя по колену.

— Пора с этим кончать, — теперь он смотрел прямо глаза мне,— пора, Женя.

Он уже не горбился, не норовил забиться в угол поплотнее, он сидел свободно, не напрягаясь, и лицо у него было спокойное, ясное, и у меня появилось чувство, что вот, наконец, я увидел лицо и глаза моего старшего брата. Я хотел спросить, не кружится ли у него голова, я хотел сказать, что это еще ему повезло там, в скалах, потому что можно было разбиться насмерть, но он улыбнулся и кивнул мне: помолчи немного, я сам все расскажу.

С десятой станции мы свернули на Окружную улицу, а по Окружной, через Дмитриевку,— на Черноморскую дорогу. И вот оттуда, с того места на десятой, где мы свернули к Дмитриевке, до самого города, до самого нашего дома, он говорил. Раз только два-три он спросил: «Ты слушаешь?» — а так всю дорогу говорил безостановочно, как будто ему и не нужно было, чтобы кто-то слушал его. Но самое удивительное — почти все, что он рассказывал, я уже вроде бы однажды слышал. Или даже не слышал, а видел, но забыл, где именно видел.

Я не ошибся — у него и вправду было несчастье: в прошлом году, двадцать третьего июня, утонул его брат Сашка. Море было очень спокойное, Сашка ловил в скалках, которые возле фуникулера, крабов, а он дремал на берегу. Потом, когда солнце стало прижигать ему спину, он позвал Сашку, чтобы тот набрал воды в бутылку и слил ему на спину. Сашка не отвечал, и он еще раз окликнул его, но Сашка и теперь не ответил, и тогда он бросился к скалам.

Минут через десять он нашел Сашку под скалой, которая вся ушла под воду, как только он высвободил Сашкину голову. Два часа, три часа, пять часов он откачивал Сашку, но Сашки больше не было. А он говорил себе: это неправда, этого не может быть, чтобы Сашки не было. И потом, когда Сашку похоронили, он все равно говорил себе: это неправда, Сашка живой, а это все — смерть, похороны — наваждение.

И каждую ночь он видел Сашку: Сашка вдруг исчезал в скалах, вода в скалах становилась красной, а он нырял, он ворочал скалы — и вдруг появлялся живой Сашка. Но сколько он ни пытался заговорить с ним, с этим живым Сашкой, ничего не получалось, и постепенно он свыкся с этим Сашкиным молчанием, потому что важно было только одно — Сашка жив, а все остальное ерунда.

Целыми днями напролет он думал только о Сашке. Нет, он работал, как всегда, очень напряженно, очень сосредоточенно, но перед глазами у него все время был Сашка — его брат. Случалось, они переходили вдвоем дорогу перед трамваем или автобусом — и он с силой одергивал Сашку, чтобы тот не угодил под колеса. А дома, когда вещь оказывалась не на месте, он вдруг окликал Сашку, чтобы сделать ему выговор.

Месяца через три у Сашки вдруг появился голос. Но это был не тот, прежний, настоящий голос, а чужой — ну, как бы это сказать? — вроде заимствованный или вернее, живший отдельно от Сашки: однообразный нашептывающий и неестественно спокойный.

На улице и на работе этого голоса не было — он появлялся только дома, среди ночи, и, самое скверное, надо было отчаянно вслушиваться, чтобы понять его, чтобы в звуках его появился смысл.

День ото дня становилось труднее, и, наконец, он почув-

ствовал, что не может зайти в свою комнату, где прежде они жили с Сашкой.

Через месяц он переехал в наш дом.

В первые дни здесь, на новом месте, он чувствовал себя лучше, а главное — не стало голоса. Но вещи, которые он перевез, понемногу наполняли комнату Сашкой. Конечно, можно было избавиться от этих вещей, можно было купить другие, но в том-то и дело, что он не считал себя вправе уйти от этих вещей, что он не хотел уходить от них.

А потом, когда ему предложили ехать в Египет, на строительство Асуанской плотины, он уже видел Сашку не иначе как в песках Сахары: все вокруг было желтым, как желтые тюльпаны, и огромные желтые львы преследовали Сашку, а он бежал от них к морю, как будто в море было спасение. Сны повторялись из ночи в ночь, и почти всегда одно и то же: Сашка убегает к морю, потому что море — это спасение.

Это было мучительно, это было невыносимо: даже во сне он сознавал нелепость перестановки — место гибели становилось местом спасения!

Но, как ни тяжело было ночью, еще тягостнее было днем, когда внезапно его охватывало желание уступить снам и действительность отступала под натиском видений.

«Я не выдержу, — твердил он себе, — это безумие, и я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить его, и никто ничего не может».

Время исчезло, прошлое вытесняло настоящее, чтобы занять его место. Но ведь это даже было и не прошлым, это была просто чудовищно переделанная снами действительность: изрезанная в лоскутья, она перешивалась заново без всякой связи с этой действительностью. Вернее, вопреки ей. Да, да, именно так: вопреки.

И вот, когда, казалось, все выходы уже забиты, когда

в начале каждой дороги уже просматривался ее тупик, он увидел меня.

Я стоял у ворот, я смотрел на солнце, прикрывая глаза рукой, и до того я был похож на его брата, что он оцепенел. Сашка! «Все, — сказал он себе, — начинается». И даже потом, когда оцепенение прошло, долго еще в ногах и затылке держался у него страх.

Нет, он ошибся, не очень я был похож на Сашку, только глаза у нас были одного цвета — голубые, как голубая вода. И еще манера смотреть одинаковая: вроде бы один только предмет и есть на свете — тот, что перед глазами.

Но происходила странная и непонятная вещь: со временем я и вправду все больше и больше походил на Сашку. И чем упорнее он думал о Сашке, тем чаще видел меня. Но прежнего страха уже не было, теперь он не боялся наваждений, наоборот, иногда ему даже казалось, что все чересчур реально. Правда, сны оставались прежними, но только по видимости прежними, потому что Сашка вроде замещался кем-то и спасение его не только не вызывало протеста, но становилось абсолютно необходимым. Теперь, наблюдая погоню львов за Сашкой, он уже не приходил в отчаяние: после первого приступа страха обязательно появлялось море, вернее, сначала мысль о нем, а затем уже само море. И в море было спасение.

Сашка был очень одаренный мальчик. Особенно в математике. Без всяких усилий он решал самые головоломные задачи. И вот что удивительно: однажды ночью у него вдруг опять появилось ощущение, будто Сашка решает с фантастической легкостью задачи, и впервые за много месяцев он почувствовал в себе ту сосредоточенность, ту ясность и точность мысли, которую называют волей. И как в те далекие дни, когда Сашка был еще жив, он явственно ощутил нити, связывающие его с людьми и вещами. Эти нити были неви-

димы, неслышимы, неосвязаемы, но внезапно, как воздух в мгновенных порывах ураганного ветра, они давали о себе знать толчками. Толчки бывали разные — плавные, как волна, резкие, как выпад фехтовальщиков, упорные, как муравей, волюющий ношу. Но почти всегда, независимо от силы и характера, они вызывали чувство уверенности и твердости.

Время от времени нити пропадали бесследно, как серебристая точка в полуденном небе, как зеленая ящерица в зеленой траве. Но это у него случалось ненадолго — до первой встречи со мной. И хотя мы почти никогда не разговаривали при встречах, у него обязательно появлялось то ощущение предельной уплотненности мысли, которое прежде, когда Сашка был жив, оставляло его очень редко. А может, и вовсе не оставляло, может, только слабело порою.

В последние три-четыре недели он очень много думал об Асуане. Но теперь он уже не корил себя за трусость, теперь он твердо знал, что поездка в Египет — это не бегство, не уход от страшных воспоминаний, а долг инженера. Ну, все равно как долг врача. Или, скажем, не врача, а просто человека посильнее, который обязан помочь слабому.

Все было хорошо. Во всяком случае, много лучше, чем раньше, до переезда в наш дом. Но вчера, в субботу, на него с прежней силой вдруг навалилась тоска, и сегодня, еще до рассвета, он помчался сюда, на дачу Ковалевского, к скалам у патриаршего фуникулера.

— Нет, это невозможно объяснить, — шептал он, но шепот его был горячее и громче крика, — меня охватила страшная ненависть к этому куску берега. И самое мучительное, я отчетливо сознавал, что давно уже, задолго еще до Сашкиной гибели, ненавидел этот берег с фуникулером, и только какое-то чудовищное ослепление, какое-то удивительное, загадочное помрачение мысли начисто заглушило

во мне тот минимум проницательности... не проницательно-сти, а пророчества, без которого человеку нельзя. Я прыгал со скалы на скалу, я что-то высматривал, хотя высматривать было нечего — туман уже стер и скалы, и море, и небо. А потом... потом не знаю, что случилось: я вдруг почувствовал, что лечу. Я знал, что могу разбиться насмерть, но страха у меня не было. Совсем не было — только удивление и досада. И еще мысль о плотине Садд аль-Аали. Это очень странно, это непонятно, но это именно так — последняя мысль была о ней, плотине Садд аль-Аали. И я увидел ее поразительно ясно, как будто она была здесь, передо мною, залитая солнцем и окруженная голубой водой Нила.

Потом он ударился. Ощущение было такое, будто кто-го изнутри нанес ему молотом, туго обернутым в тряпки, удар. Он знал, что теряет сознание, он знал, что здесь, в скалах, это очень опасно, но он ничего не мог сделать, чтобы сохранить сознание. Мы считали с ним, и получалось, что так, без сознания, он пролежал часа два, пока вдруг какой-то отчаянный крик, очень далекий, из ослепленной солнцем пустыни, где люди в пробковых шлемах копошились в песке, не ударил его, но опять-таки не извне, а изнутри.

— Это кричал ты, — произнес он очень уверенно, когда я рассказал о плотине Садд аль-Аали, о львах, которые преследовали меня, и о том, как старший брат спас меня. И еще он сказал, что все это видел тоже, хотя в общем здесь много непонятного, потому что как же человек без сознания может видеть? Ну как?

Что я мог ответить ему? Только одно: не знаю. Но ведь он и сам понимал, что я не знаю.

Потом он сказал, что завтра уезжает. В Египет. А вечером я должен к нему зайти, обязательно должен: он покажет мне свою комнату, свои книги, и, если мне захочется, я могу пользоваться этой комнатой и этими книгами — ключ будет

храниться у меня. Целый год у меня, до возвращения его в Одессу.

— И еще, — добавил он, — думай обо мне, упорно думай. Лучше по вечерам, когда заходит солнце. Теперь март, и там, в Египте, тоже будет заход — мы на одном меридиане.



БУЛЬВАР ЦЕЛКАНТУС

Юрию Борисовичу Лукину

Самое главное — захотеть. Но не все умеют хотеть, потому что по-настоящему захотеть — это сделать даже самое трудное дело уже больше чем наполовину. А разве многие умеют дело, особенно трудное, сделать больше чем наполовину?

Мальчик, о котором я расскажу, умел очень сильно хотеть, и потому этот мальчик никогда не останавливался на полпути. У него были очень зоркие глаза, такие зоркие, что

как бы далеко доктор-окулист ни уводил его от таблицы, он все равно безошибочно определял, где разорвано колечко величиной с воробьиный глаз. Доктор очень удивлялся, но представьте себе, как удивился бы доктор, узнай он, что этот мальчик просматривает запросто самую длинную дорогу, и в конце ее, где другие не видят ничего, кроме тумана, он видит золотящийся на солнце замок.

Но однажды вдруг выяснилось, что даже этот удивительно зоркий мальчик видит не всю дорогу. И вот такая любопытная история случилась с этим мальчиком. Он стоял у ворот своего дома, больших железных ворот, которые запираются большим железным ключом. Была уже ночь; дворник чертыхался в своем чулане, разыскивая огромный железный ключ, а мальчик по-прежнему стоял у ворот. Ворота были старые, такие же, как дом, которому в прошлом году исполнилось сто лет. Сто лет — это очень много. Попробуйте прожить сто лет, и вы обязательно узнаете, как это много. Мальчик смотрел на ворота, которые знали уже, как это много — сто лет, и все-таки оставались молодыми. Другие были с обломанными петлями, прогнувшимися прутьями и отчаянно скрежетали, когда створки их по камням волокли навстречу друг другу, чтобы замкнуть. А эти не скрежетали, не скрипели проржавевшими петлями и никогда не жаловались на свои годы.

Значит, подумал мальчик, это необыкновенные ворота, значит, подумал мальчик, это волшебные ворота, хотя он знал, что на самом деле никакого волшебства нет, потому что волшебников и волшебство люди сами выдумали, когда еще ничего не умели. Ну, а то, что выдумывать волшебников и волшебство, может, и было самым большим умением человека, об этом мальчик не думал. Не думал потому, что ему было всего девять лет, и мир, казалось ему, всегда был таким, каким он его видит.

Нет, он, конечно, знал, что люди старятся, что люди рождаются и умирают, но старые, твердо верил он, всегда были старыми, горбатые — всегда горбатыми, слепые — слепыми, а безногие, в тележках, — всегда безногими. Иногда он жалел этих людей, потому что у горбатых были скритучие злые голоса, слепые не видели солнца, а безногие не могли бегать. Но слепые смеялись, и горбатые смеялись, и безногие смеялись, и жалость оставляла мальчика, потому что нелепо жалеть людей, которые смеются и радуются.

Но самое удивительное — не меньше трех раз в неделю мальчик жалел самого себя. И как еще жалел, знали бы вы только! Он плакал, он очень горько плакал, но слез его никто не видел, потому что это были слезы о себе, которых никому нельзя показывать.

Когда ему становилось особенно невмоготу, он обращался к воротам. Вот поглядите на них — ведь им сто лет! Но разве они говорят кому-то: смотрите, нам сто лет, мы старые, пожалейте нас? Нет, эти ворота совсем не похожи на другие, которые всегда ищут сочувствия и просят о снисхождении. Эти ворота молоды, хотя им сто лет. Эти ворота будут молодыми через тысячу и десять тысяч лет, потому что это волшебные ворота.

И сегодня, в сто первый вечер года, мальчик снова прижался щекой к этим волшебным воротам и горько заплакал, хотя плакать было не от чего. Ворота, крытые черным лаком, были гладки и прохладны, как зеркало из очень толстого стекла. Через минуту слезы мальчика — и те, что были на щеках, и те, что на воротах, — просохли, и мальчик почувствовал себя удивительно сильным. Он никогда еще не был таким сильным, он чувствовал, что нигде и ни в чем не будет ему сейчас запрета. Он мог бы выпрямить позвоночники горбатых, вернуть зрение слепым, поставить на ноги безногих. Но он не думал о них, он думал только о себе.

Я говорил уже, он чувствовал себя необычайно сильным, и, как всякий очень сильный человек, он захотел стать властелином. Нет, он не думал о власти над людьми, потому что ему было всего-навсего девять лет. Но он хотел стать властелином вещей, созданных людьми. А велика ли, в сущности, разница между первым и вторым, если все, даже самые самые маленькие дети, превосходно знают, что за вещи, созданные им, человек борется порою отчаяннее даже, чем за свою жизнь.

Волшебные ворота, крытые черным блестящим лаком, незря прожили целый век. За это время они узнали семьсот семьдесят семь человек, которые жили в здешнем доме, семь тысяч семьсот семьдесят семь их друзей и врагов, которые приходили в гости, и семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь человек, которые прошли мимо дома. Ну, а теперь сложите эти числа, и вы убедитесь, что если не весь мир, то уж половину его ворота знали наверняка. И конечно же, такие мудрые и всеведущие ворота прекрасно понимали, чего хочет мальчик, который только что так горько плакал, прижимаясь к ним щекой.

И ворота сделали все, чего пожелал этот мальчик, и мальчик стал властелином всех вещей, созданных людьми.

Распахнулись двери магазинов, полки которых ломились от всякой всячины. Распахнулись ворота гаражей и дверцы всех машин, которые стояли в этих гаражах. Не стало ворот на самом большом стадионе, мячи валялись на зеленом поле, на беговых дорожках и даже среди скамей на трибунах.

И никто, ни один человек на свете не мог помешать мальчику распоряжаться по своему желанию всеми этими вещами, потому что ни одного человека, кроме самого мальчика, на свете не осталось. Трудно сказать, как в одно мгновение исчезло столько людей. Но ворота, которые совершили чудо, были, как мы знаем, волшебные, а волшеб-

ство и чудо, наверное, обязательно должны быть непонятными, иначе люди раз узнали бы все секреты и, чего доброго, вместо того, чтобы работать, занялись бы чудодейством и волшбой.

Было двенадцать часов пополудни, солнце висело прямо над макушкой, и, чтобы увидеть его, надо было запрокинуть голову. Дома, и деревья, и трамваи, которые остановились посреди улицы, и машины, которые тоже остановились посреди улицы, не имели в этот час тени, и, должно быть, поэтому в городе было удивительно много света, так много, что глазам даже было больно от этого света.

Мальчик шагал по широким улицам обезлюдившего города, и от мысли, что он единственный, а значит, настоящий властелин этого огромного города со всеми его богатствами, он сам стал таким огромным, что без труда мог коснуться верхушки самого высокого дымохода на крыше трехэтажного дома и даже, если бы захотел, заглянуть в него.

Сначала мальчик зашел в магазин, где были всякие вкусные вещи: шоколад в плитках, шоколад-медаль, шоколад-яйцо, шоколад-страус, шоколад-медведь бурый и шоколад-медведь белый, шоколад-слон и шоколад — лесная избушка на курьих ножках. Кроме того, там были ликер в шоколаде, изюм в шоколаде, орех в шоколаде и шоколад — пьяная вишня. Были там еще всякие очень вкусные компоты, но дело в том, что с тех пор, как мама сама научилась консервировать компоты и не было надобности покупать их в магазине, мальчик совсем разлюбил компоты.

Сначала, решил мальчик, надо съесть слона. Отломив половину хобота, он разжевал его так быстро, что даже хруста не услышал. Затем он отломил другую половину, которая была вдвое толще первой, и положил ее в рот, но уже не торопился, а ждал, пока шоколад сам не потечет куда-то внутрь, где нет ни горького, ни сладкого, а есть только бла-

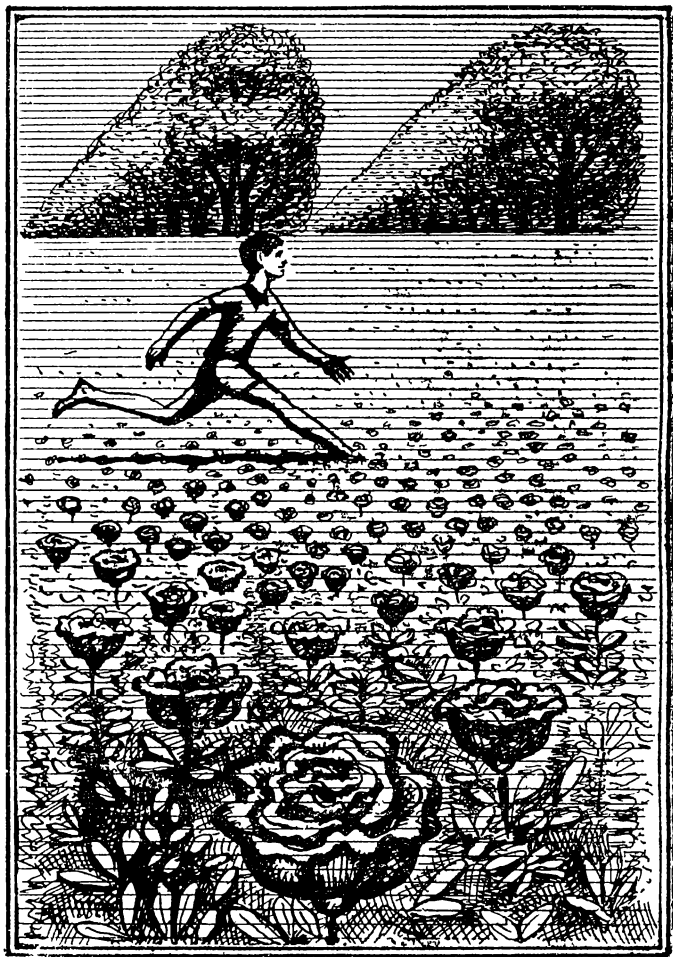
женство от вкусных вещей и гадкое чувство от невкусных.

В Африке, где охотятся на слонов и употребляют слонину в пищу, хобот всегда достается вождям племени и их министрам, потому что хобот — самая вкусная часть. Мальчик в Африке не бывал и, кроме того, он ничего не знал о вкусах африканских вождей и их министров. Но у всех властелинов вкусы одинаковые, и потому мальчик, съев хобот слона, тушу его сбросил на пол. Отломив голову страуса, он точно так же поступил с его телом, хотя, как вы знаете, голова у страуса очень маленькая, а тело — огромное.

Голова страуса растаяла очень быстро, и, осмотревшись, мальчик неторопливо протянул руку к избушке и отломил ножку, на которой она держалась. Избушка, стоявшая у самого края прилавка, рухнула на пол и рассыпалась. Отломив один палец и изящный шоколадный ноготочек другого, мальчик положил их в рот, а ножку раскрошил и даже не подумал о том, что нельзя оставлять на столе крошки.

Потом он перешел к другому прилавку, где хранились торты и пирожные. И здесь он поступил точно так же, как там, у шоколадного прилавка: у первого торта отломил уголок, у второго — выел середину, с третьего снял прекрасную синюю розу, а на четвертом, водя пальцем по крему, написал: «Петька — дурак». Петька — это лоботряс из соседнего дома, который частенько поколачивал его просто потому, что никакого другого способа прогнать скуку не знал.

Мальчик съел так много сладкого, что теперь надо было выпить стакан или даже два стакана воды, чтобы не было так сладко. Но, увидев бутылку апельсиновой воды рядом с бутылкой клубничного сиропа, он позабыл, почему его томит жажда, и налил в стакан до последнего ободочка клубничного сиропа, а сверху — апельсиновой воды. Апельсино-



вой воды было здесь столько, что ею можно было до середины или даже выше наполнить бабушкин наперсток.

Сделав один глоток, мальчик поморщился, потому что во рту у него стало невыносимо сладко, и невольно рука его, которая все очень хорошо понимала, отвела стакан ото рта. Но мальчик вспомнил, что в стакане клубничный сироп, и заставил руку со стаканом немедленно вернуться.

После второго глотка мальчик почувствовал, что клубничный сироп вовсе не сладок, а после третьего он был уже попросту отвратительно горек. И тогда мальчик выплеснул клубничный сироп на пол, набрал в стакан воды из фонтанчика для мытья и выпил эту воду, которая оказалась удивительно прохладной, удивительно прозрачной и удивительно вкусной.

Отдел газированных вод и безалкогольных напитков был у самого выхода, и в раскрытую настежь дверь мальчик увидел город, о котором совсем позабыл. Он еще не знал, что шоколады, торты, сиропы и всякие другие сласти обладают поразительной способностью притуплять человеческую память, но его ноги, которые все очень хорошо понимали, с радостью и необычайным проворством, рожденным этой радостью, вынесли его в несколько прыжков на площадь Астронавтов.

На площади Астронавтов росли цветы и деревья. Если вы хотите узнать, какие цветы там росли, возьмите любой справочник по декоративному цветоводству, выберите десять или двадцать, или тридцать названий, которые вам по душе, и можете смело считать, что вы обошли все сто тринадцать клумб площади Астронавтов.

Но деревья на площади росли необыкновенные, и названий их вы не найдете даже в самом толстом справочнике, где восемьдесят восемь с половиной страниц и еще вкладыш в три тысячи восемьдесят восемь с половиной страниц

названий, пропущенных по вине сторожа типографии и заместителя главного лифтера.

Эти деревья ростом не выше катальпы, но листья у них втрое больше и стручки, которые мальчики называют просто висюльками, впятеро длиннее. Но самое удивительное у них не листья, огромные, как сшитые в одно четыре уха слона, и не стручки, длинные как шамберьер — бич дрессировщика из цирка. Самое удивительное у них ветви, которые опускаются и поднимаются по желанию человека, так что послушанием своим они очень напоминают добродушных индийских слонов. Эти слоны, как вы знаете, сами хоботом высаживают на спину себе хозяев и их детей.

Мальчик подбежал к дереву, которое было ближе других, и не успел он еще вдохнуть воздух, нужный для произнесения слов, как дерево само опустило ветви. Мальчик долго смеялся, так велика была его радость, и эта радость помешала ему заметить, что смех, которым он смеялся, беззвучен, что шорохов, которые всегда бывают, когда колышутся листья, нет, что ветви, опускаясь и поднимаясь, не скрипят, что треска, когда он обрывал листья и обламывал стручки, не было.

Мальчик оборвал девяносто девять самых больших листьев, каждый из которых мог заменить человеку одеяло в летнюю ночь. Листья бесшумно ложились под кроной дерева, и, когда мальчик, насытившись, глянул вниз, он увидел необыкновенную зеленую постель, которая могла принадлежать только принцу. Но принцев мальчик не любил, потому что принцы — дети царей и цариц и сами будущие цари. А царей любить нельзя, потому что они угнетали и грабили народ. И мальчик, не снимая ботинок, бросился в эту необыкновенную постель с самой высокой ветки. Нет, нет, не беспокойтесь, с ним ничего не случилось: зеленая постель была эластична, как зеленая губка из поролона, и, чтобы смягчить

удар, она еще три раза подбросила мальчика кверху, но всякий следующий раз вдвое ниже, чем в предыдущий. В последний раз он поднялся всего на два фута, или шесть с половиной дециметров и десять миллиметров.

Лежа на этой необыкновенной зеленой постели, мальчик срывал длинные, как шамберьер, стручки и обвинял ими свои руки и ноги, так что вскоре он стал походить на зеленого старикашку лесовика. В другое время такого старикашку лесовика наверняка схватил бы милиционер. Доставив лесовика в отделение, он стал бы дожидаться его папы и мамы, потому что милиция любит получать штрафы не почтовыми переводами а прямо из рук нарушителей или их опекунов, если по возрасту закон еще не разрешает нарушителю платить штраф самостоятельно. Впрочем, об этом можно бы и не говорить, потому что все ведь знают, что платить штраф — это большое и почетное право, которое предоставляется только совершеннолетним и полноправным гражданам.

Но властелинов не останавливают. Даже милиционеры, даже сами участковые милиционеры на это не решаются! Но в нынешний раз у них была уважительная причина: они, как вы помните, исчезли вместе со всеми горожанами неизвестно куда. Да и то хорошо, что со всеми, потому что там уж наверняка никто не посмеет безнаказанно обрывать листья, оголяя, с одной стороны, деревья, а с другой — замусоривая тротуары.

Побаловавшись на зеленой постели, мальчик принялся протыкать листья шпагой, которую он изготовил из очень длинной и очень прямой ветки. Прежде чем он нашел эту ветку, подходящую, по его мнению, для шпаги, он сломал девяносто девять других веток, которые показались ему непригодными. А потом, когда ему и это надоело, он побежал напрямик через клумбы, где росли цветы, названия которых вы нашли в справочнике декоративного цветоводства.

Нет, нет, я нисколько не хочу убеждать вас, что это был злой, гадкий мальчик. Ведь он был властелином, этот мальчик, а властелин потому и властелин, что удовлетворяет всякое свое желание. А уж если при этом надобно растоптать тысячу или даже десять тысяч роз, то это говорит лишь о том, что розы были недостаточно предусмотрительны и очень легкомысленно отнеслись к такому вопросу, как выбор жилища.

Чтобы окончательно рассеять ваши несправедливые подозрения, я сообщу вам, что мальчик просто-напросто мчался кратчайшей дорогой к машинам, у которых была стоянка на противоположной стороне площади Астронавтов. А теперь посудите сами, был ли резон огибать всю площадь только для того, чтобы спасти какую-то тысячу или десять тысяч роз!

Первые три машины мальчик миновал, потому что все они были черного цвета и очень самоуверенны: красный свет им был нипочем, через лужи они проезжали на самой большой скорости, забрызгивая пешеходов, а окна у них были то же, что зеркальные очки: глаза, спрятанные за ними, видели все, но сами оставались невидимыми.

В четвертой, пятой и шестой машинах мальчику не понравились баранки — серая, салатная и бледно-желтая. И только седьмая оказалась именно той, о которой он всегда мечтал, — вся она была красная-красная, того удивительно красного цвета, в который окрашены одни только пожарные машины.

Дверцы ее, как и у всех других машин, были раскрыты настежь. Но едва мальчик уселся поудобней, все четыре дверцы мгновенно захлопнулись. Это было так неожиданно, что мальчик даже испугался. Но чуть у него мелькнула мысль о бегстве, все четыре дверцы распахнулись и оставались в таком положении, пока мальчик не сказал себе: «Петька ис-

пугался бы, если бы с ним так, а я — нет». Петька — это тот самый лоботряс из соседнего дома, который всегда поколачивал его просто потому, что не знал другого способа прогнать скуку.

Мальчик еще не выбрал маршрута — он только представил себе те улицы и площади, где ему хотелось побывать, а машина уже неслась по Косвенной и Параболической, Раскидайловской и Инерционной к Цветному бульвару, потому что прежде всего он вспомнил о нем.

По Цветному бульвару машина спустилась на Приморскую улицу. Приморская — самая длинная улица в городе, ее пересекают двенадцать бульваров, и те, что видели ее сверху, в иллюминатор самолета, обязательно сравнивают ее с сороконожкой.

На Дынном бульваре — он находился прямо против Арбузной гавачи — машина замедлила ход: мальчику показалось, что неплохо бы пройтись по гавани. Но тут же он вспомнил Хлебную гавань, гавань Казанлыкской розы, гавань Алмазных песков и бухту Золотой полумесяц, и машина помчалась со скоростью вдесятеро больше прежней, чтобы поспеть за желаниями мальчика, которые были так же стремительны, как его мысли.

Через полчаса машина уже едва держалась на своих четырех колесах, так беспорядочны были желания мальчика, который совсем не хотел считаться с правилами уличного движения и требовал проезда именно там, где висел не один, а сразу три знака, запрещающих проезд всем видам транспорта. «Это удивительно, — думала про себя машина, — ведь только что он пренебрег этими черными нахалками, которые считают что законы не для них. А теперь... ах, — машина едва сдержала вибрацию, которая у машин то же, что нервный озноб у человека, — не надо об этом думать: ведь все равно сказать ему об этом я не решусь».

Объезжая в третий раз город, мальчик уже не испытывал никакого восторга. Напротив, все улицы показались ему похожими друг на друга, как близнецы, хотя в действительности не было и двух улиц, которые бы не отличались своими домами, своими тротуарами, мостовыми и деревьями: ведь это был очень старый город. Строители этого города были очень странные люди, и каждый из них больше всего на свете боялся походить на своего соседа. И эта боязнь их была так велика, что каждый оставлял на стене построенного им дома свое имя: проектировал архитектор Бим-Бом, строил инженер Бом-Бим.

Мысли мальчика ползли теперь едва-едва, а желания его были так вялы, что машина от такой черепашной езды, с ее бестолковыми остановками и нелепым движением вспять устала еще больше, чем от прежней сумятицы.

Наконец на одной окраинной улице, у самого обрыва, машина остановилась вовсе, потому что у мальчика не было уже ни мыслей, ни желаний.

И вдруг, в то самое мгновение, когда сон должен был сделать еще одно крохотное усилие, чтобы целиком завладеть мальчиком, от кончика его ногтей до кончика волос, мальчик вдруг увидел обрыв и глубоко, судорожно вздохнул. И машина тотчас с бешеной скоростью помчалась вдоль обрыва, потому что таково было желание мальчика, а глубокий, судорожный вздох был его вестовым.

Два часа двадцать минут и двадцать девять с половиной секунд носилась машина по большому внешнему кольцу города, которое с трех сторон — запада, севера и востока — проходило вдоль обрыва. Двадцать девять раз машина повисала двумя колесами над пропастью, потому что со скоростью обязательно растет и центробежная сила. Двадцать девять раз оба они — мальчик и машина — были на краю гибели, но чем неистовее была езда, тем неистовее были

желания мальчика. Ах, кричал он, ну быстрее, ну еще быстрее, ну еще, еще быстрее!

А потом, через два часа двадцать девять минут и двадцать девять с половиной секунд, мальчик вдруг почувствовал усталость, хотя за все время он не истратил и одной дины. А сила в одну дину, как вы знаете, настолько мала, что ускорить движение шарика весом в один грамм она может только на один сантиметр в секунду.

Конечно, окажись в этот момент рядом человек бывалый и умудренный, он растолковал бы мальчику, как трудно иной раз отличить усталость от скуки. Но рядом никого не было и быть не могло, потому что настоящим властелинам нет нужды узнавать чье-то мнение и слушать чьи-то советы.

Усталость, как известно, сама проходит, а скуку надо прогнать. Но чтобы прогнать, надо хотеть, а чтобы хотеть, надо иметь силы. Но ведь сил-то как раз у мальчика и не было. И я думаю, ему пришлось бы совсем худо, если бы не машина, мгновенно замечавшая самое крохотное, даже во сто раз меньше нейтрино, который в миллион раз меньше атома, изменение его мысли.

Давно уже остался в стороне обрыв, давно уже осталось в стороне большое внешнее кольцо города, и теперь они медленно, толчками, как стрелки электрических часов, продвигались по безлюдным улицам. По-прежнему были раскрыты настежь все двери — магазинов, кино, парикмахерских, кафе и мастерских. Но когда мысль с трудом перемещается на расстояние во сто раз меньше нейтрино, очень нелегко вспомнить, что же скрывается там, за этими раскрытыми настежь дверьми.

И только у огромных, как триумфальная арка, дверей универсального магазина «Детский мир» мальчик почувствовал внезапное волнение: в самом большом, самом свет-

лом зале магазина, на самом большом столе, на зеленых, как трава, шпалах ослепительно сверкала никелем электрическая железная дорога. На никелированных рельсах этой дороги стояли электровозы, тепловозы и один старый паровозик с трубой, которая прежде принадлежала, наверное, фабрике, так она была велика, эта труба. У железной дороги день-деньской толпились люди, потому что всегда находился всезнайка, который решительно уверял, что через десять минут железную дорогу включают. Это сказал лично директор, объяснял всезнайка, хотя никто не домогался никаких объяснений.

А вечером, за десять минут до восьми часов, в этот самый большой, самый светлый зал приходил с красной табличкой «Закрыто» под мышкой лично сам директор и лично сам объявлял, что дорога не действует, а исправить ее нельзя, потому что она — заморская, импортная, старший же механик города, который один только и может ее наладить, сейчас занят на другом объекте. И опять всезнайка, хотя никто его не спрашивал, рассказывал, что главный механик города занят на ремонте главного городского меридиана. А меридиан лопнул еще в четверг, после дождика, когда смотритель — хранитель главного меридиана получил очень ответственное и очень срочное задание — ждать у моря погоды.

Но теперь, ликовал мальчик, она будет только моей, эта дорога. Выйдя из машины, он краешком глаза заметил, что предметы по-прежнему лишены тени, как будто полдень застрял на месте. Странно, подумал краешком мозга мальчик, краешком потому, что вся остальная его часть была занята мыслью о железной дороге. Взяв по гранитным ступенькам магазина, мальчик краешком уха уловил необыкновенную тишину, как будто весь город стал безголовым. Странно, подумал мальчик тем же краешком мозга,

потому что вся остальная часть его по-прежнему была занята мыслью о железной дороге.

Нетерпение мальчика было так велико, что едва он оказался в вестибюле, из которого открывался проход прямо к железной дороге, даже тот микроскопический краешек мозга, что улавливал прежде непонятно долгий полдень и необыкновенную тишину, тоже был захвачен железной дорогой. И мальчик помчался с такой огромной сверхскоростью, что воздушная волна, которая, как вы знаете, обязательно возникает при сверхскоростях, подняла стол вместе со шпалами, рельсами, электровозами, тепловозами и паровозиком с его фабричной трубой и пронесла их через все двенадцать залов магазина и стеклянную стену.

Эта стеклянная стена выходила на бульвар Целаkantус, посреди которого в гигантском аквариуме плавали целаканты, вернувшиеся на землю спустя шесть миллионов лет.

Мальчик был в отчаянии, но отчаяние его длилось недолго: подле аквариума стол с железной дорогой, целый и невредимый, опустился на землю. И — о чудо! — едва он встал на землю, железная дорога, которая была неподвижна с того самого четверга, после дождичка, ожила: сверкнули искры над электровозами, вздрогнули тепловозы и повалил пар из огромной, как фабричная, трубы паровоза.

Мальчик остолбенел от изумления, потому что таково свойство чуда — наводить на человека столбняк

Но чуда-то, если хорошенько подумать, и не было: просто мальчику очень-очень сильно захотелось, чтобы железная дорога ожила. И дорога ожила. А ведь все говорили, что это под силу только главному городскому механику с его большим умением. Но, как видите, большое хотение оказалось так же могущественно, как большое умение.

Электровозы, тепловозы и паровозик набирали все большую скорость, и порою казалось, что они непременно

столкнутся. Но семафоры работали так четко, а стрелки переключались в таком идеальном согласии с ними, что мысль о неизбежной аварии, а с нею и страх через три минуты бесследно улетучились, уступив место восторгу. Настоящему восторгу без тревоги и опасений.

«Ах, — восклицал мальчик, — ведь это я оживил дорогу. Слышите, это я оживил ее!» Но, конечно, никто ничего не слышал, потому что город был безлюден. Да и сам мальчик ничего не слышал, потому что все предметы и даже воздух утратили свои голоса. Это и не удивительно, если вспомнить, как давно они ими не пользовались. А властелину голос и вовсе ни к чему, ибо нет властелина, кроме властелина, и угадывать его желания — цель всего сущего.

«Но я хочу, чтобы меня услышали!» — закричал мальчик и топнул ногой. И в тот момент, когда он топнул, под ногу ему подвернулся глупый камешек, который не представлял себе большего счастья, чем жизнь под пятой властелина. Но камешек был острый, и мальчик, который, как все властелины, до смерти боялся боли, изо всей силы швырнул камешек, повернувшись к аквариуму лицом. И тут мальчик услышал всплеск и увидел целакантов, которые безо всякого выражения, как истуканы, смотрели на него. Но мальчик был так счастлив, что, нисколько не смущаясь, стал рассказывать им человеческими словами, как он вернул жизнь электрической железной дороге. И в этот раз произошло настоящее чудо: целаканты — четвероногие рыбы, которые шесть миллионов лет жили вдали от мира, — заговорили человеческими голосами. И мальчик, хотя он был властелином, бросился к ним в аквариум, чтобы прижать каждого из них к себе, как делают все живые существа на радостях.

Крупные головы целакантов были покрыты роговыми пластинками, отполированными до блеска. Мальчик терся

щекой об эти пластинчатые головы и чувствовал, как, вначале холодные, они становятся все горячее. Но он долго еще не оставлял их, потому что они были единственными живыми существами в городе, и только нестерпимое жжение заставило мальчика, наконец, отпрянуть.

Отпрянув, мальчик больно ударился головой о стену. Рядом со стеной были черные, крытые блестящим черным лаком ворота. Это были ворота столетнего дома, в котором жил мальчик. И воротам, как вы уже знаете, было тоже сто лет. Но с виду они были так молоды, что больше двадцати им никто не давал. Ничего удивительного: ведь они были волшебные, эти ворота.



СЕДЬМОЙ ЭТАЖ

Он слыл трудным мальчиком. Он слыл трудным лет с шести, когда папа и мама впервые заговорили с ним о школе. Это было в марте. Они сказали ему, что вот пролетят весна и лето — и в сентябре он пойдет в школу. Папа вспомнил свой первый школьный сентябрь — каштаны были еще зеленые, как в мае; мама ничего не вспоминала, мама только вздохнула и сказала, что время не стоит на месте. А он вдруг рассмеялся и заявил, что в школу не

пойдет. Мама сделала большие глаза, а папа очень спокойно спросил у него:

— Значит, ты хочешь остаться невеждой?

И он ответил папе тоже очень спокойно:

— Да, папа.

И тогда папа объяснил ему, что он мелет вздор, потому что человек не может всерьез судить о том, чего он не знает. А для него, Гришки, или, короче, по-домашнему Гри, школа и невежество — это просто слова, лишённые смысла.

— Просто слова, — повторил папа.

И тогда Гри опять рассмеялся, а папа сказал ему:

— Перестань смеяться: смех без причины...

Папа не договорил, потому что Гри прервал его и очень серьезно произнес:

— ...это поливитамины.

Папа сказал, что его сын жалкий рифмач и что сам он, папа, в детстве тоже был таким, но в школе, когда он занялся серьезным делом, все это слетело с него, как осенняя кора с платана.

— И ты сделался цвета кремовой слоновой кости, облившийся осенний платан.

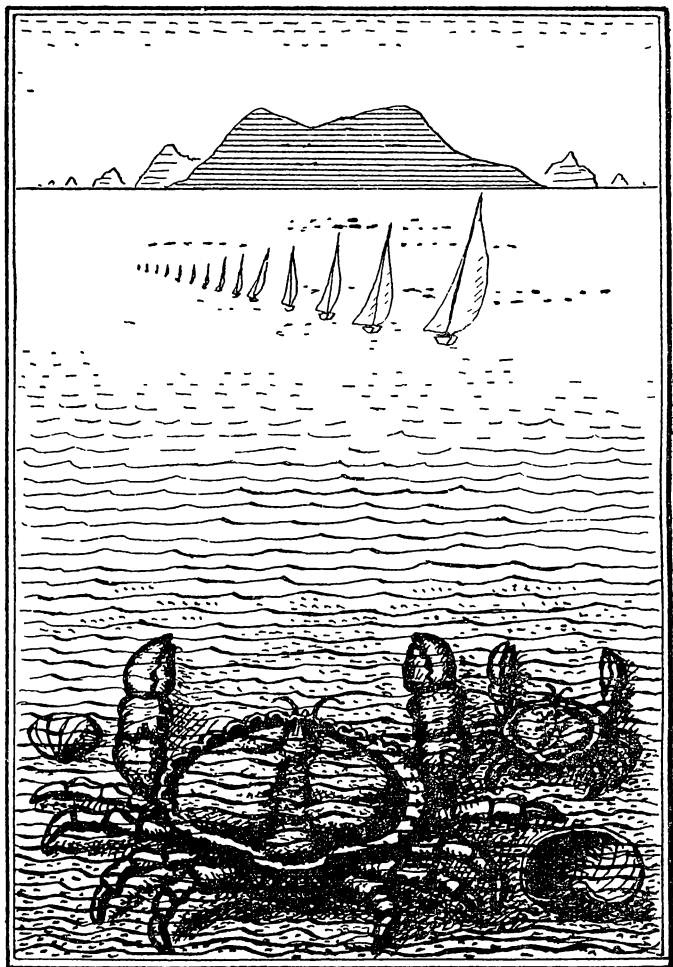
— Ты угадал, сын, — сказал папа. — Но не забывай, есть разные способы окраски...

— Например, — весело произнес Гри, — можно отодрать за уши. Я опять угадал, правда, папа?

— Да, — согласился папа, не колеблясь, — и мы сейчас убедимся в этом на собственном опыте. Гри, подойди ко мне, пожалуйста, поближе — отсюда я не достану тебя.

Гри встал у кресла, справа, отец ухватил его за ухо и, притянув к себе, крепко обнял. Мама сказала, что этот вариант она предвидела с самого начала, и сын немедленно поддержал ее:

— Да, мама.



— Гри, — сказал папа, — ты стал болтлив, как электронная гадалка из комнаты смеха. Но я знаю, ты полюбишь школу и будешь прилежно учиться. Только дай мне, пожалуйста, слово, что не будешь торопиться с ответом, пока не познакомишься по-настоящему со школой.

— Хорошо, папа, — сказал Гри, — если тебе очень хочется отложить правду, отложим ее. Но ты сам говорил мне: правду надолго откладывать нельзя.

— Так, — кивнул папа и хотел еще сказать, что если бы мы всегда точно знали, где правда, к человечеству вернулся бы золотой век. Но он не сказал этого, и потом, когда Гри ушел к себе, он решил, что в присутствии сына не следует увлекаться нравственными и социальными обобщениями, потому что преждевременная зрелость — это нередкое преждевременная грусть.

— Ты должен быть с Гри строже, — сказала ему жена.

— Да, — ответил он, — я могу приказывать ему молчать, но приказывать ему не думать я не могу. Даже если бы это разрешалось законом.

Через полчаса Гри постучался в комнату отца.

— Войди, — сказал отец, — но помолчи две минуты. Я должен дописать фразу.

Усевшись в кресле, Гри наблюдал за отцом и постепенно, от стоп к животу, погружался в бархатное, как от человеческого тела, тепло. Такое же бархатное тепло Гри обволакивало на берегу моря, когда в перегороженной каменной запруде перед ним млели крабы, прогретые солнцем. Никто, кроме него, Гри, не замечал, как меняется окраска панцирей у крабов, как завихряются струйки воды в оранжевых клешнях, как меняется взгляд черных, испуганных глаз краба. Прежде он думал, как все: у краба всегда испуганные глаза, потому что краб всегда тарашит их. Но потом, много раз, он видел у крабов другие глаза: тоже выта-

ращенные, но тусклые и безучастные. Поначалу он решил, что эти крабы попросту больны, но внезапно, когда рядом проносилась серебристая фиринка, краб, только что больной и безучастный делал отчаянный паучий рывок. Промажнувшись, краб секунд десять-пятнадцать судорожно подгребал клешней песок, а потом снова каменел.

Однажды он показал крабов папе и спросил, как они меняют цвет своих панцирей. Папа сказал, что здешние крабы не способны менять свою окраску, а то, что Гри видит, просто сумма физических факторов — толщина слоя воды, угол падения солнечных лучей, свечение неба, движение воздуха, — которые воспринимаются им как игра красок на панцирях. Почему именно на панцирях? Ну как почему, удивился отец, да просто потому, что именно на них сосредоточено внимание человека.

— Кстати, — заметил отец, — ты и сам мог бы это сообразить, Гри.

Да, подумал Гри, я и сам мог бы это сообразить, но крабы-то меняют свой цвет на самом деле. На самом деле. Неужели и папа не замечает этого?

Гри огорчился, когда отец не поддерживал его, но это длилось очень недолго — до того самого дня, когда отец в разговоре с матерью, понизив зачем-то голос, сказал, что не только разные поколения, но даже люди одного поколения видят и толкуют мир по-разному — и это, вероятно, первейшее условие постижения мира.

— И в конечном итоге, — добавил папа уже во весь голос, — прогресса.

Дня через три после этого Гри нашел в папиной библиотеке книжку о Джордано Бруно — человеку, которого сожгли за то, что он не хотел думать так, как другие. Но это было очень давно, утешал себя Гри, полтысячи лет назад. А потом он нашел другую книжку — и ему стало

страшно, потому что этой книжке было всего сто сорок четыре года, и автор ее рассказывал о жестоких пытках, которым подвергали люди людей только за то, что одни видели и думали не так, как другие. И всегда были правы те, что казнили, и всегда были не правы казненные. А потом приходили новые поколения и новые судьи, и белое становилось черным, а черное — белым. И это был уже последний суд, которого никто не пересматривал.

Отец дописал фразу и сказал Гри, что, пожалуй, лучше всего посидеть у окна.

— Хорошо, — сказал Гри, — я тоже люблю сидеть у окна.

В руках у Гри был альбом, и отец потянулся к стене, чтобы выдвинуть столик, но Гри остановил его:

— Не надо, папа. Альбом будет лежать у тебя на коленях. Можно?

Мужчина подвинулся, и теперь они сидели в кресле рядом — отец и сын. Отец листал страницы молча, мальчик тоже молчал, потому что никто не требовал у него объяснений. Перелистав весь альбом, отец вернулся к двенадцатой странице, где в джунглях пряталось чудовище, напоминавшее игуанодона, и спросил, какая страна здесь изображена.

— Сельвас, среднее течение Амазонки, — объяснил Гри, — вчера доктор Мануэль из Белу-Оризонти рассказывал по телевидению, что он готовит новую экспедицию в долину Мадейры. Он говорил, что гора, наконец, развенчать Амазонку — принцессу Тайны.

Слушая сына, отец закрыл глаза. Потом, чуть-чуть приоткрыв их, так что Гри не мог понять, видит его отец или нет, сказал:

— Доктор Мануэль вправе строить какие угодно планы. Но мой сын мог сообразить, что в джунглях такой исполин, как игуанодон, не прожил бы и одного дня, потому что де-

ревья, лианы и топи превратили бы его в беспомощную глыбу мяса.

— Ты прав, папа, я не подумал.

— Да, — кивнул отец, — и я очень рад, что ты понимаешь это. Но я не беспокоюсь, Гри, в школе тебе дадут знания упорядоченные, а не случайные, и таких алогизмов ты допускать не будешь. Как видишь, школа нужна всем.

Первого сентября Гри отправился в школу. Каштаны были еще зеленые, как в мае. На пятипалых листьях платана лежала серебристая сентябрьская пыль — тонкая и легкая, как пыльца с крыла капустницы.

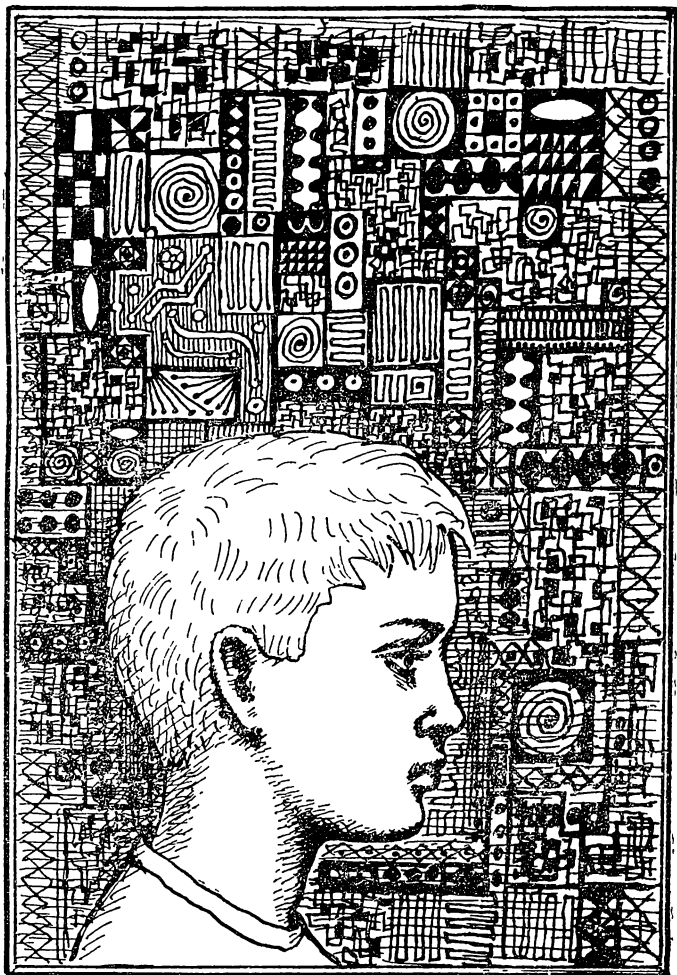
Кроме Гри, в классе было еще тринадцать мальчиков и девочек. Учительница Энна Андреевна построила их парами и сказала, что осмотр школы они начнут с верхнего, седьмого этажа, чтобы не подниматься лишний раз на лифте.

На седьмом этаже было тихо, как в музее энтомологии. Три стены каждой комнаты были заняты электронными аппаратами, четвертая — огромным, от стены до стены, окном. Посреди комнаты стояла парта, за этой партой сидел мальчик. Во всех комнатах сидели мальчики, и только в одной, предпоследней, Гри увидел девочку. А последняя вообще пустовала. Энна Андреевна вдруг рассмеялась — он был очень странный, ее смех, в тишине загадочного седьмого этажа — и сказала, что здесь сидят непослушные дети, и последняя комната ждет не дождетсЯ какого-нибудь новичка. Но Энна Андреевна, конечно, уверена, что из ее класса в эту комнату никто не попадет.

— Так, дети? — весело произнесла учительница.

— Так, — ответили дети очень серьезно, очень тихо.

На шестом и пятом этажах были разные лаборатории, на четвертом и ниже — классные комнаты. Во дворе особняком стояли два одноэтажных дома — школьные мастерские и спортзал. Спортзал был, собственно, тремя залами — бас-



сейном, баскетбольной площадкой и отсеком легкой атлетики.

В бассейне Энна Андреевна разрешила искупаться тем, кто умеет плавать. Пятеро, оказалось, не умеют. Гри был очень удивлен, а учительница прижала этих пятерых к себе и очень бодрым голосом сказала, что это сущий пустяк — научиться плавать и через полгода они будут плавать так, что даже акула за ними не угонится.

— Так, дети? — опять спросила учительница весело, звонко.

И дети ответили очень серьезно, как в первый раз:

— Так.

Гри посадили рядом с девочкой. Девочку звали Илой. Гри пол-урока рассматривал ее, а она ни разу не глянула в его сторону и во время перерыва сказала, что разглядывать человека во все глаза неприлично и, кроме того, он, Гри, мешает ей этим своим разглядыванием.

— Но, — возразил Гри, — человек должен уметь сосредоточиться, и тогда ему никто не будет мешать. Ты не умеешь сосредоточиваться.

— А ты невоспитанный мальчик, — Ила только чуть-чуть, самую малость, повысила голос, — и я скажу учительнице, чтобы она пересадила меня.

На следующем уроке Энна Андреевна сделала Гри первое замечание. Она так и сказала:

— Гри, я делаю тебе первое замечание.

Да, подтвердил Гри, первое, и еще сообщил при этом, что он умеет считать до миллиона. Энна Андреевна очень внимательно и долго смотрела на него, а потом вдруг улыбнулась и сказала:

— Это очень хорошо, что ты умеешь считать до миллиона. Дети, кто-нибудь еще умеет считать до миллиона?

Над партами поднялись тринадцать рук. И тогда Энна Ан-

древна велела всем опустить руки, а Гри разрешила сесть на место.

Дома Гри нарисовал в альбоме тринадцать рук с глазами на ладонях и сверху написал: «Они умеют считать до миллиона». Потом он нарисовал еще бегемота, носорога и слона в террариуме, отгороженном рвом, и подписал снизу: «А вы умеете считать до миллиона?» И, подумав немного, добавил: «А на вас смотреть прилично?»

Вопрос был нелепый и Гри знал, что вопрос этот нелепый, — ведь для того и существовали зоопарки, чтобы люди могли рассматривать зверей. Но почему, думал Гри, рассматривать зверей можно, а людей — нет? Люди рассматривают зверей, чтобы побольше о них узнать. А разве Илу он рассматривал не для того же? И, наконец, разве не для того у человека глаза, чтобы смотреть и видеть? И все-таки учительница встала на сторону Илы, и мама, наверное, тоже поддержала бы Илу. А папа?

— Папа, скажи, почему неприлично разглядывать человека?

— Условность, Гри, люди так договорились между собой. Но нужно ли это? — папа пожал плечами. — Я думаю, это прошлое, которое люди просто не успели еще пересмотреть.

Полгода, от сентября до марта, тянулись бесконечно долго. У Гри было странное ощущение, будто эти полгода впятеро больше всей его прежней жизни. Каждый день на каждом уроке Энна Андреевна говорила: «А теперь, дети, пойдем дальше», — но Гри почему-то не чувствовал этого движения вперед. Наоборот, очень часто у него возникала твердая уверенность, что они движутся вспять, что они возвращаются на исхоженные дороги и непонятно зачем петляют на этих дорогах. Это было вроде того, что если бы они сейчас, на уроках алгебры, вдруг затеяли палочки писать.

А Ила чуть не после каждого урока говорила своей подруге Лане:

— На этом уроке было очень интересно.

И Лана отвечала ей важно:

— Да, было очень интересно. Энна Андреевна знает все на свете.

А потом они говорили о глупых детях из прошлого, которые даже в пятом классе изучали еще арифметику, хотя арифметика — всего лишь частный случай алгебры.

Гри однажды не выдержал и сказал этим девчонкам, что еще ни одному человеку не удалось установить разницу между хвастовством и глупостью.

— А когда слушаешь вас, так и вовсе понимаешь, что этой разницы нет.

Девочки пожаловались учительнице. Энна Андреевна велела Гри извиниться. Встав у кафедры, Гри извинился, а вернувшись на место, вдруг сказал:

— Но ведь это им все равно не поможет.

Вечером у Гри был разговор с отцом, потому что накануне Энна Андреевна звонила отцу в институт. Папа сказал, что Гри огорчает его. Гри сидел в кресле напротив и, глядя отцу прямо в глаза, терпеливо ждал, когда же он перейдет к делу. Наконец папа вздохнул и сказал, что он, Гри, не совсем не прав, но люди живут в обществе, а коль скоро так, они должны подчиняться условностям, потому что без условностей нет общества.

— Значит, — спросил Гри, — я не имел права говорить этим девчонкам правду?

— Нет, Гри, ты не только можешь — ты должен говорить правду. Но при этом ты обязан уважать мнение другого человека, каким бы оно тебе ни казалось.

— А они, — Гри все так же смотрел отцу в глаза, — могут говорить что им вздумается, потому что люди, о кото-

рых они говорят плохо, уже мертвы и не могут ответить им?

— Нет, — улыбнулся отец, — они тоже не должны так говорить, но перед мертвыми не извиняются. А если извиняются, то просто потому, что находятся живые, которые присваивают себе право говорить от имени мертвых и представлять их волю.

— Хорошо, — сказал Гри, — я понял, папа.

— Да, — кивнул отец.

Ночью была гроза. Это была первая гроза в нынешнем марте. Сначала по крышам и стеклам лупил град, как будто тысячи чудовищ одновременно выплевывали миллионы своих зубов. Потом хлынул дождь, который был даже не дождь, а сплошной, как из необъятной, величиной с небо трубы, поток воды. Потом грохнул гром, сверкнула молния — и небо стало зеленым, того электрического зеленого цвета, какой бывает у искровых разрядов.

Наутро после грозы взошло солнце, какого уже давно не было. Гри отлично знал, что земная жизнь никак не влияет на солнце, что солнце за ночь не могло измениться и, уж во всяком случае, никак не могло стать моложе. И все-таки он видел юное солнце, которое ничего общего не имело со вчерашним — вялым солнцем февраля.

Гри вышел из дома в восемь пятнадцать — за четверть часа до уроков. Школа была в пяти минутах ходьбы, и Гри всегда отворял школьную дверь в одно и то же время — восемь двадцать. Но сегодня Гри едва передавигал ноги, и при такой ходьбе до школы было все пятнадцать минут. Если так ходить, думал про себя Гри, заявишься в школу после звонка или, в лучшем случае, со звонком. Такого у них в классе еще не случалось, и Энна Андреевна скажет, что это необычайное происшествие и о нем непременно надо поговорить. Ила выступит первой и наверняка начнет так:

— Меня лично поведение Гри удивляет с первого дня.

Потом выступит Лана и скажет, что она лично в первые дни ничего такого не замечала в поведении Гри, но вскоре она увидела то же, что видит ее подруга Ила.

Прямо перед школой стоял двенадцатизэтажный дом института морского животноводства, а рядом, против главного его входа, была остановка монорельсового трамвая, соединявшего институт с берегом моря. Гри не собирался садиться в трамвай, но случилось так, что у остановки они оказались одновременно, и мальчик случайно нажал кнопку «Трап», и автомашинист отворил дверь навстречу трапу-эскалатору, который в секунду забросил Гри в средний отсек трамвая.

До берега было всего сорок километров — десять минут езды с двумя остановками. Но это были первые в жизни Гри сорок километров и десять минут, проведенные самостоятельно, и они нисколько не были похожи на те, что бывали прежде.

Гри сидел в кресле у иллюминатора. Кроме Гри, в отсеке не было никого, и он чувствовал себя первым человеком на Земле. Первым и самым могущественным, желания которого реализуются так же быстро, как возникают. Дважды по воле Гри трамвай останавливался, дважды платформы подкачивали эскалаторы, хотя внизу, на Земле, не было никого, кто нуждался бы в них. Только одного Гри не мог сделать — продлить или сократить стоянку, потому что тридцатисекундная стоянка в интервале от восьми до десяти утра и от семнадцати до девятнадцати была неизменной. Но Гри не чувствовал себя из-за этого нисколько слабее, как не чувствовал себя слабее оттого, что невозможно остановить солнце или устроить лунное затмение.

До первой остановки дорога проходила между жилыми домами города. Но отдельных окон Гри не видел — перед

ним все время вилась сверкающая стеклянная лента, волнистая, как дорога перед глазами автомобилиста.

Потом, после первой остановки, пошли заводы и огромное сплошное синее небо, которое в жилой части города показывалось только клочками. На северо-востоке в небо упирались четыре гигантские трубы — это были те самые трубы завода-музея, которые в хорошую солнечную погоду просматривались и с крыши-солярия дома, где жил Гри. Вечерами, когда темнело, на них загорались красные огни — сигналы самолетам. Папа объяснял Гри, для чего заводу нужны были такие трубы, но Гри все-таки не понял этих объяснений, потому что сам же папа говорил, что в середине XX века люди уже изобрели реакторы и солнечные аккумуляторы. И даже еще за сто лет до них один химик говорил, что топить можно бумажными деньгами, а сжигать нефть — это преступление.

Вторая остановка была тоже в черте города, но дальше, до самого берега, тянулись сады и луга, которые сплошным кольцом окружали город. Гри дважды видел это кольцо с вертолета, и оба раза оно представлялось ему почему-то огромным зеленым обручем, в котором исполн Гильгамеш замкнул игрушечные дома игрушечных людей. А здесь, на земле, не было никакого обруча — были стометровые эвкалипты, были гигантские секвойи и необъятные баобабы. Но на фоне белесого мартовского неба, границы которого терялись в море и за холмами, они выглядели просто большими деревьями и даже соседство кленовидных платанов не давало верного представления о всамделишных их размерах. Это казалось Гри непонятным: он давно уже привык, что размеры предмета постигаются в сравнении. Но почему же все-таки стометровые гиганты выглядят обыкновенными деревьями, хотя кленовидный платан, высотой в шестиэтажный дом, рядом с ними — не более малыша, спрятавшего в ко-

лениях у отца голову? Ведь если бы он, Гри, встал подле такого дерева...

Глаза Гри внезапно, как в испуге, расширились, но Гри не испугался — Гри смеялся, потому что он сам, без помощи папы, сделал огромное открытие: человек все предметы сравнивает с собою, и только тогда он по-настоящему постигает их размеры.

Через минуту инерция, которая при отправлении прижимала Гри к спинке кресла, стала упорно отрывать его от этой самой спинки. Появились столбы подвесной дороги — сначала они замелькали стремительно, в дымке, как пальцы, мгновенно проносящиеся у самых глаз, потом они стали походить на стоймя поставленные трубы, изгибающиеся книзу, потом они выпрямились и, чередуясь строго параллельно, остановились вовсе. Мегафон объявил: «Станция Акватория. Конечная».

Три гигантских водоема — для китов, моржей и дельфинов — были расположены вдоль берега. Собственно, это были участки моря, отгороженные железобетонным молом. Мол, оборудованный прожекторами, уходил вглубь на сто метров.

В правом, ближнем, углу водоема для дельфинов была расположена игровая акватория, принадлежавшая детям. Акваторию населяли исключительно верховые дельфины, лексический запас которых составлял не менее ста слов. За двенадцать лет существования игровой акватории не было ни одного несчастного случая, но детей, отправлявшихся в плавание на дельфинах, непременно снаряжали спасательным поясом. Снаряжали только потому, что не решались пренебречь такой ничтожно вероятной случайностью, как внезапное помутнение рассудка у ребенка или дельфина.

Надев пояс, Гри через стационарный гидрофон приказал дельфину номер сто тринадцать прибыть в четвертый сектор.

Спустя полминуты дельфин номер сто тринадцать, по кличке Део, прибыл в четвертый сектор. Гри стоял рядом, метрах в десяти, и терпеливо ждал, пока он подойдет поближе. Но дельфин не двигался, тогда Гри поманил его пальцем. Део прекрасно видел Гри, манившего его, но с места все-таки не двинулся. Разозлившись, Гри назвал Део ослом и побежал к сходням, подле которых застрял упрямый дельфин. Пробегая, Гри увидел под ногами у себя синюю тройку. Она была так неожиданна, что он едва не споткнулся о нее.

Усевшись на Део, Гри долго и нежно просил у него прощения на человеческом языке. Слов этого языка Део не понимал, но в интонациях его никогда не ошибался. Део понравился этот мальчик, который беспрестанно болтал, держа у рта переносный гидрофон, и он безукоризненно выполнял все его команды, хотя это было не очень легко: рядом сновали десятки других дельфинов с детьми, и нужно было рассчитывать каждый маневр до сантиметра. Когда они вышли в юго-западный квадрант, Део, мчавшийся с тридцатикилометровой скоростью, едва не сшиб дельфиниху Кел. Гри был в восторге, и Део, благоразумный, вежливый Део, тоже был в восторге.

— Зз-зз-з! Тц! Зз-зз! — трещал, как зуммер, восхищенный Део.

— Не понимаю, — хохотал в ответ Гри, и дельфин, увлеченный игрой, трещал еще отчаяннее, чтобы доставить мальчику удовольствие.

Вода в акватории была подогрета до тридцати двух градусов, но часа через три Гри почувствовал озноб, который возникает от долгого купания даже в теплой воде. Део повернул к северо-западу, чтобы выйти в первый сектор. Сначала Гри не понял маневра дельфина, но, когда они стали выходить прямо к сходням, он стал колотить Део ногами по бокам и кричать в гидрофон, требуя поворота на раззернуты́

угол. Дельфин остановился, терпеливо ожидая, пока маленький человек не опомнится. Пробушевав с минуту, Гри успокоился и сам попросил Део высадить его на берег. Тело дельфина опять заскользило в воде — мягко и бесшумно, как отполированное стекло. Даже у колен мальчика вода уже не всходила, как прежде, пенистыми бурунами, а отвечалась плавными струями.

Присев на сходящих, Гри подтянул к себе Део и прижался щекой к его шершавой голове. Потом мальчик поднялся и пошел своей дорогой по берегу. У поворота он оглянулся, помахал рукой и что-то крикнул. Вскоре мальчик исчез, а Део по-прежнему не оставлял своего места в первом секторе, откуда просматривалась вся дорога, до самого поворота.

Пробило двенадцать — время, когда кончаются уроки. Еще пять минут — и Энна Андреевна поведет класс в школьное кафе. Второй завтрак ребята заказали утром, после первого урока, и теперь достаточно нажать кнопку, чтобы получить свой заказ. Гри, как и все, проделывал это пять раз в неделю, за исключением субботы и воскресенья. А сегодня он этого не сделает — впервые с тех пор, как пошел в школу. На мгновение у Гри появилось неприятное чувство отчуждения и заброшенности, но только на мгновение: стеклянные двери кафе «Аквариум» открывались так же послушно, как в школьном, и пахло здесь так же вкусно и привычно, как в школьном.

Через четверть часа Гри вышел. Свернув на усыпанную галькой дорогу. Гри остановился. Строго говоря, останавливаться было незачем, потому что все дороги теперь, когда время близилось к часу, вели домой. Но то, что было бесспорно и очевидно до кафе, после кафе вдруг утратило свою очевидность. Гри переминался с ноги на ногу, сухо скрежетала галька, протяжно свистели скворцы, а ветер, с торопли-

вым шепотом пробежавший по роще, не то увещевал, не то звал за собою, но тихо, чтобы услышал его только тот, кто должен услышать.

На станции ударил электрический колокол: очередной поезд монорельсовой дороги отправился в город. В роще отчаянно залился скворец.

Свистнув в ответ, Гри зашагал по галечной дороге.

В роще было сумрачно, как летом в комнате, когда свет пробивается сквозь щели штор. Звуки здесь были тоже другие — они оставались в том месте, где возникли, привязанные к птице, дереву или жуку, пробиравшемуся под сухими листьями. Даже ручей, который беспрестанно жевал что-то на всем своем пути, и тот не отпускал своих звуков ни на дюйм от русла.

Никогда прежде Гри не слышал такой тишины, как здесь. Это была удивительная тишина, которая совсем не походила на ту, что он устраивал себе дома, когда оставался один. Гри сгреб к туе ворох сухих слежавшихся листьев и уселся на них, опершись спиной о мягкую податливую хвою дерева: так было удобнее слушать тишину.

Солнечное пятно лежало у ног мальчика ослепительно яркое, как пришелец из другого мира. Над пятном подымались прозрачные дымки, и воздух на мгновение, как зеркало под человеческим дыханием, становился матовым. Потом пятно внезапно, каким-то удивительным скачком, которого Гри не успел заметить, увеличилось до размеров океана, и над этим океаном клубились пары, и клубы их были огромные, как грозовые тучи. Самое удивительное, однако, было то, что посреди океана, как только что в роще, стояла туя и подле нее, прислонившись к хвое, по-прежнему сидел он, Гри.

Однажды Гри почудилось, что вдали, на горизонте, поднялась гигантская волна и устремилась прямо на него. Гри съёжился, приготовившись нырнуть под эту волну. Но вдруг ока-

залось, что это вовсе не волна, а сизая, во всю длину горизонта, коса тумана.

Коса была неподвижна, а между нею и мальчиком океан клочкотал беспрерывно, всходя бесчисленными гейзерами, которые пульсировали, как струи асинхронных фонтанов.

Несколько раз Гри отчетливо видел голову гигантской серой змеи с двумя плоскими саблевидными зубами. Гри объяснял себе, что это вздор, потому что змей с саблевидными зубами никогда не было, но голова появлялась опять, и всякий раз с новыми подробностями: маленькие волосатые ушки, немигающие и вытянутые, как зрачок у кошки, белесые глаза, изумрудный гребень и огромные, с крылья птеродактиля, плавники.

Страха у Гри не было. Наоборот, какая-то злая сила стремительно росла в нем, требуя немедленной атаки на чудовище. Но против этой злой силы восставала другая сила, которая удерживала Гри и не допускала помутнения его мысли безрассудной яростью. Чудовище подбирало плавники, готовясь к броску. Гри заскрежетал зубами, дыхание его стало медленным и тяжелым, кожа головы напряглась, стягиваясь к темени.

Подобрав плавники, чудовище взметнулось над океаном, и миллионь градин одновременно посыпались Гри на голову. Гри закрыл глаза и схватился руками за голову, но градины отчаянно лупили его по рукам, пробивая их насквозь. Самое главное, твердил про себя Гри, открыть глаза, надо открыть глаза — и все пройдет.

Когда Гри открыл глаза, ни океана, ни серой змеи с плавниками уже не было. Града тоже не было — вся поляна была усеяна шишками туи, тусклыми, как запыленный лист кактуса. Гри подобрал несколько шишек — они были поразительно похожи на карликовых морских ежей. Потом он

ссыпал их с ладони на голову, но теперь это были всего-навсего упругие шишки, вовсе не походившие на градины.

Солнечное пятно по-прежнему лежало у ног мальчика, но уже не слева, как раньше, а справа. На пятне сновали муравьи, расчерчивая его изломанными, как схема международных авиалиний, трассами. Сначала все муравьи были неразличимо похожи, но, выбрав наугад два муравья, Гри уже не оставлял их — и оказалось, даже эти двое вовсе не похожи друг на друга: один, с едва заметным коричневым отсветом, был медлителен, другой, с блестящей, как черное зеркало, чернотой — суетлив; один беспрерывно останавливался, дотошно осматривая свой груз, другой — волок свою ношу безостановочно, напрямик, и если по пути случался другой муравей, он и тогда не сворачивал с дороги, перебираясь вместе с грузом прямо через своего сородича. Самое любопытное, что сородич при этом нисколько не бунтовал: замерши, он терпеливо ждал, пока тот, черный и блестящий, как черное зеркало, не переберется со своим грузом.

Внезапно Гри услышал напряженное, как у электромотора-лилипута, жужжание. Жужжание шло от дуба, который был слева, но, сколько Гри ни всматривался, ни возле дуба, ни здесь, ближе к туе, на глаза не попадалось ничего, кроме синюшного воздуха, пронизанного лучами солнца. Затем жужжание стремительно, как будто без скачка даже, переместилось и повисло у Гри над теменем. Гри запрокинул голову и, прежде чем получил щелчок по носу, успел заметить в воздухе золотисто-сизый всплэск. Гри на ноги упал изумрудный жучок златка, а огромная оса церцерия, которая уронила его, войдя в крутой вираж с приземлением, вдруг взмыла кверху и унеслась прочь, так что Гри даже не успел уследить, куда именно.

Златка была мертва. Во всяком случае, сколько Гри ни

покалывал ее, она оставалась неподвижной, как мертвое существо, которое не знает боли. Но крытые ворсом ножки жука были по-живому гибки, а прозрачные крыльца под жестким хитиновым панцирем — эластичны и влажны, как у только что пойманного кузнечика. Значит, решил Гри, он живой и всего лишь притворяется мертвым, чтобы его выбросили. Но, известное дело, такого притворства хватает жуку на одну, самое большое — две минуты. Однако через две минуты и даже через пять и десять златка оставалась по-прежнему безучастной и не делала ни малейшей попытки сбежать. Тогда Гри выбрал место, где муравьи сбились такой плотной кучей, что невозможно было бы и иглу поставить стоймя, и бросил туда златку. Сначала муравьи шарахнулись от глыбы, свалившейся на них с неба, но полусекунды оказалось им достаточно, чтобы оправиться от испуга, и они набросились на златку: в том месте, где только что была златка, вырос муравьиный холм, ныряющий в собственное свое нутро.

Гри прождал с минуту, но и теперь, когда нужно было и, главное, можно было бежать, златка оставалась неподвижной. Веткой туи Гри разогнал муравьев, поднял златку, еще раз согнул и разогнул ворсистые ее лапки, приоткрыл хитиновые надкрылья и, ощупав крыльца, положил в карман.

Солнечные лучи были по-прежнему ярки, но все они теперь прижались к земле, и угол между ними и землей составлял уже едва ли тридцать градусов. Гри знал, теперь они, эти лучи, будут никнуть к земле со все увеличивающейся скоростью и часа через два сникнут вовсе, как поваленные деревья: после пяти вечера мартовское солнце садится быстро.

Набив карманы шишками туи, Гри вышел на галечную дорогу. Минут через двадцать у дорожного знака Гри свернул налево — по указателю «Станция Акватория».

Домой Гри вернулся к шести часам. Двери были раскрыты настежь, Гри обошел все четыре комнаты — в квартире никого не было. Включив телефонного секретаря, Гри услышал голос Энны Андреевны: «Ваш сын сегодня не явился в школу. Прошу сообщить причины».

Странно, подумал Гри: о том, что мне известно до мельчайшей подробности, оказывается, ничего не знают ни папа, ни мама, ни Энна Андреевна, про которую Лана говорит, что она знает все на свете.

Выложив шишки на стол, Гри вынул златку. В сумерках она отсвечивала золотисто-зелеными пятнами с матовыми краями. Гри включил настольную лампу — появились фиолетовые тона, которых прежде не было. Гри положил златку на спину и прижал ее брюшко карандашом: брюшко было мягкое. У дохлых часа уже через два-три оно стекленеет и становится хрупким, скрипучим. Но, может, прошло все-таки слишком мало времени и поэтому златка еще не задубела?

Повседневная посуда хранилась в столовой, хрустальная — в маминной комнате, в эллипсоидной горке. Мамина комната была ближе. Гри не выбирал — Гри взял то, что было ближе: бокал розового хрусталя с тремя ромбовидными ножками. Забросив жука в бокал, Гри сыскал листок плотной бумаги, продырявил его и прикрыл им посудину. Затем Гри уселся подле стола и уставился на златку. Однажды ему показалось, что златка шевельнула лапками. Но настоящей уверенности не было: предметы, даже заведомо неподвижные, когда смотришь на них, начинают оживать — раньше всего ребра и всякие тонкие линии. Гри закрыл глаза, протер их — нет, златка была совершенно неподвижна.

Внезапно со стены заговорил папин голос:

— Гри, ты слышишь меня? Отвечай, ты слышишь меня?

Только теперь Гри заметил, что карманная рация, которую он недели еще три назад спрятал в ящик, висит на сте-

не. Самое удивительное, что Гри не увидел, когда вошел, красного индикатора — сигнала включения.

— Да, папа, — крикнул Гри, — я слышу тебя! Я дома.

— Так, — сказал отец. — А мама знает, что ты дома?

— Мама не звонила. Но она, наверное, сейчас позвонит.

Папа не ответил. Он даже не сказал обычного своего «хорошо», которое давало Гри ощущение порядка и благополучия.

Минуты через три позвонила мама. Едва Гри снял трубку и сказал «это я», мама немедленно объявила ему, что он негодный мальчишка, что у него нет сердца, что он не любит и не щадит свою мать.

Папа и мама пришли одновременно. Мама на ходу приняла таблетку, папа принес ей четверть стакана воды — обычную ее порцию, а Гри терпеливо ждал, пока все войдет в рамку, которой уже, наверное, тысяча лет: папа и мама сядут в кресла, а сын встанет у стола. Если же он, невоспитанный мальчишка, обопрется, чего доброго, о стол, ему скажут: опусти руки по швам. Гри давно уже хотел спросить, почему так говорят — «по швам»: ведь никаких швов на самом деле у него нет. Но этот вопрос обязательно приходил Гри в голову тогда, когда вообще никаких вопросов нельзя было задавать. Сначала Гри стал вплотную к столу, но тут же пришлось отступить на полшага, потому что с правой рукой просто невозможно было совладать: она так и норовила лечь на стол. Гри почудилось, что папа улыбается. Но это, конечно, только почудилось ему, потому что лицо у папы было жесткое, с плотно сомкнутыми губами и глазами, в которые Гри очень не хотелось сейчас смотреть. Но первые слова, произнесенные папой, были именно про глаза:

— Гри, смотри мне в глаза.

— Я смотрю, папа, — сказал Гри, уводя взгляд к окну.

— Гри, — повторил папа, — смотри мне в глаза.

Гри сделал все, чтобы у него получилось это — прямой взгляд в папины глаза, — и у него наверняка получилось бы, если бы не мамино внезапное вмешательство:

— Да разве он может смотреть отцу в глаза! Осталось же у него хоть в глазах немножко стыда, немножко совести

Гри никогда не мог понять этой маминой склонности противопоставлять его же глаза, язык, нос — бесстыжие глаза, болтливый язык, длинный нос — ему самому. Папа тоже, видимо, не очень понимал в этих случаях маму, потому что, выслушав ее, он напоследок говорил ей очень тихо, почти шепотом:

— Через пять минут мы с Гри зайдем к тебе.

В нынешний раз все произошло точно так же, если не считать одной совершенно новой и не очень понятной фразы, которую произнесла мама:

— Пусть будет по-твоему, но ты слишком либерален с ним. Это не приведет к добру.

Папа ничего не ответил, папа только улыбнулся и чуть-чуть поднял брови, и лицо у него от этого сделалось вмиг удивительно добрым, таким добрым, что Гри тоже вдруг заулыбался, как будто все неприятности были уже позади.

Когда мама вышла, папа велел Гри сесть в кресло и обстоятельно рассказать, во-первых, почему он прогулял уроки и, во-вторых, где он провел целый день.

Гри рассказал папе, какое было сегодня утро, какое солнце и небо. Нет — он может дать самое честное слово — он ничего не продумывал заранее, просто ноги сами привели его к институту морского животноводства, а там — ну, папа же знает — совсем рядом станция монорельсовой дороги. А дорога ведет к берегу, а у берега — акватория, а в акватории — дельфины. А потом, когда идешь с берега, если свернуть влево, — роща. Да, Гри совсем забыл: по пу-

ти к роще — кафе «Аквариум», и второй завтрак у него был в этом кафе.

Папа слушал Гри молча, папа умел слушать — он не задавал наводящих вопросов, не ловил на слове, не всплескивал руками и не качал сокрушенно головой. Иногда у Гри появлялось странное чувство: папа вроде здесь, перед ним, и вдруг исчезает. То есть не совсем исчезает, а как бы утрачивает привычное лицо и становится всем, что окружает Гри. Самое удивительное, при этом Гри все-таки очень отчетливо видел папу, сидящего в кресле.

— Папа, — сказал Гри, — а златка, которую мы нашли, жива?

Папа улыбнулся. Теперь Гри уже точно знал — папа улыбается на самом деле. Но Гри не заметил своей обмолвки, а отец заметил и не поправил сына, потому что с минуту назад, когда Гри рассказывал о роще, он был там уже не один, как днем, а вдвоем, с отцом, и златку они нашли тоже вдвоем. А накануне отец явственно услышал напряженное, как у электромотора-лилипута, жужжание. И оба они, отец и сын, вскинули головы одновременно.

Потом Гри, не спрашивая разрешения, бросился к подоконнику, схватил посудину со златкой и поставил ее перед папой.

— Смотри, папа, какие у нее гибкие лапки. И крылья мягкие. И брюшко мягкое. А помнишь, когда мы бросили ее муравьям, она даже не пыталась бежать. Почему? Значит, она в самом деле мертвая?

Папа вдруг рассмеялся. Гри тоже рассмеялся — он всегда смеялся заодно с папой.

— Нет, — сказал папа, — златка не мертва и не жива: она в промежуточном состоянии. Оса церцерис своим ядом парализовала ее нервную систему, но одновременно предохранила златкино тело от гниения. Законсервировала, так

сказать, блюдо для своих личинок. Но минимум жизненных функций у златки сохраняется. А в общем это все-таки консервы, не больше. Кстати, теперь люди консервируют свою пищу по рецепту церцерис. Даже термин такой появился — церцерирование.

Папа опять рассмеялся, Гри тоже, но в этот раз Гри перестал смеяться много раньше и стал требовать, чтобы и папа успокоился. Гри потянул папу за рукав раз десять, прежде чем добился толку. Наконец папа утих, хлопнул Гри по плечу и произнес слова, за которые ему всегда доставалось от мамы:

— Валяй, сынок!

Но на следующий вопрос Гри папа не мог ответить. Он прямо так и сказал: не могу. А потом добавил: и никто, пожалуй, этого не может. Поразительно, но факт: люди, как и двести лет назад, не знают, почему именно златку выбирает церцерис, как отличает она златку от других жуков, хотя сами златки потрясаяще различаются — златка дубовая несколько не похожа на тополевою, а золотоямчатая и вовсе белая ворона в семействе златок.

Гри слушал очень внимательно, а затем, когда папа неожиданно смолк, задумавшись о чем-то далеком, — это по его глазам было видно, что о далеком, — спросил, могла ли бы Энна Андреевна объяснить поведение церцерис-златкоубийцы.

— Сомневаюсь, — ответил папа.

«Сомневаюсь», — повторил папа, а Гри отчетливо слышал голос учительницы, которая втолковывала ему, Гри, что оса руководствуется своим инстинктом, и этого сегодня вполне достаточно, а исчерпывающий ответ он получит в седьмом классе на уроках биокибернетики и парапсихологии.

Папа все еще думал о чем-то своем далеком, и, наверное, поэтому не обратил внимания на слова Гри:

— Я не хочу в школу.

И тогда Гри еще раз сказал:

— Папа, я не пойду в школу.

Теперь папа услышал слова Гри и опять, как прошлым летом, почти год назад, попросил Гри не молоть чепухи. Но Гри в третий раз повторил слова про школу, и папа уже ничего не говорил о молотье чепухи, а очень строго сказал, что завтра они пойдут в школу вдвоем.

Потом папа задел бокал, бокал полетел на пол, и ромбовидные его ножки откололись. Мама была раздражена до крайности, потому что хрустальные бокалы с ромбовидными ножками — ее любимые, а, кроме того, она еще раз убедилась, как велики силы хаоса и энтропии и как стремительно они иррадируют.

— Да, — сказал папа, — ты совершенно права. Наши предки с их примитивным образным мышлением говорили об этом так: пришла беда — открывай ворота.

— О, тебе всегда очень весело!

— Не всегда, — возразил папа, улыбаясь, и поцеловал маму в обе щеки, оба глаза, оба уха и лоб, потому что испокон веков семь — священное число.

...Гри всегда безошибочно определял, хорошее или дурное настроение у Энны Андреевны. А сегодня впервые Гри растерялся: учительница, как всегда, была очень вежлива, очень предупредительна, один раз даже назвала его «мой мальчик», но все это было чуждо тому — привычному, устоявшемуся, повторявшемуся изо дня в день. Энна Андреевна уже знала, что Гри прогулял уроки — папа позвонил ей еще вчера, чтобы она не беспокоилась, — и к тому же знала, что Гри не хочет учиться в школе. Гри не догадался, что у папы был разговор с учительницей. Но что могло перемениться, если бы он догадался? Ведь ничего обидного в том, что ему, Гри, не нравится школа, для Энны Андреевны не

было. На ее месте могла быть другая учительница — и все равно Гри не захотел бы идти в школу. Разве Гри не нравится Энна Андреевна? Нет, она обыкновенная, как все люди, и для Гри такая же, как все другие люди. Конечно, Ила и Лана восхищаются ею, потому что она — «такая особенная, особенная, самая лучшая», а у Гри эти телячьи восторги вызывают только отвращение. Но сама-то Энна Андреевна здесь ни при чем.

Нет, дело совсем в другом — просто на уроках Гри скучно. Почему именно скучно, Гри не может объяснить. Ила говорит, что в школе очень интересно: сегодня не знаешь — завтра узнаешь, сегодня не понимаешь — завтра все поймешь. А у Гри почему-то все как раз наоборот: сегодня — понятно, а завтра — нет. И, самое удивительное, по-настоящему хорошо Гри чувствует себя тогда, когда понятное вдруг оказывается непонятным, а простое таким сложным, таким запутанным, что даже папа объяснить не может не только ему, Гри, но и самому себе. И кроме того, на уроках почти никогда не говорят о главном — о том главном, чем постоянно занята голова Гри. Когда Гри задает вопросы, Энна Андреевна обязательно отправляет его к будущему: «Это изучают в пятом классе, это — в седьмом, а это — в десятом. Наука, Гри, это прежде всего система, и в основе ее — движение от простого к сложному».

Папа тоже так говорит: наука — это система. Но то ли голос у папы другой, то ли глаза другие, но эти же слова, когда произносит их папа, звучат иначе — и мир вокруг не тускнеет.

— Дети, — сказала Энна Андреевна, когда прозвонил звонок, — Гри вчера прогулял уроки. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо: послушаем сначала Гри.

— Ну, — начал Гри, — я встал, сделал зарядку, умылся, позавтракал и в четверть девятого вышел из дома. До школы

мне пять минут ходьбы, но вдруг я увидел трамвай, который идет к морю...

— А разве ты раньше его никогда не видел? А если бы тебе встретился самолет, который отправляется в Африку или Патагонию?

— Помолчи, Ила, — одернула ее Энна Андреевна.

— В Африку или Патагонию? — переспросил Гри. — Самолет не мог встретиться. Вертолет — да, а самолет — нет.

— Гри, — сказала Энна Андреевна, — ты отвлекся, рассказывай по порядку.

Больше Гри не прерывали, и он повторил слово в слово вчерашний свой рассказ: про дельфина Део, рощу, муравьев и церцерис-златкоубийцу. Нет, про церцерис было уже не простое повторение, потому что Гри вспомнил и папины объяснения. Но никто не знал, что Гри пересказывает папины слова, и получилось так, будто Гри было известно все с самого начала.

Первой подняла руку Ила. Конечно, сказала она, то, что рассказал Гри, не лишено интереса. Но подумайте, воскликнула она, что произойдет, если каждый школьник будет поступать, как ему вздумается. Дисциплина обязательна для всех, и пусть Гри не думает, что для него мы будем делать исключение. Это давным-давно, когда люди были еще не очень умные, существовали всякие принцы и принцессы — люди голубой крови. А теперь каждый очень хорошо знает, что у всех людей кровь одного цвета — красного.

Потом взяла слово Лана. Прежде всего она объявила, что целиком присоединяется к мнению Илы. Но, кроме того, ей хочется выразить свое возмущение эгоизмом Гри, который заботился только о своем собственном удовольствии и нисколько не задумался о неприятностях и волнениях, которые он доставил маме, папе и Энне Андреевне. Конечно, она не думает, что Гри специально делал назло, но ведь эгоизм пото-

му и эгоизм, что он позволяет человеку видеть только самого себя.

После Ланы выступали еще Лим, Ада и Сол. Да, сказали они, проступок Гри очень серьезный, но мы должны не осуждать Гри, а помочь ему, потому что ошибиться может всякий: автомобиль на четырех колесах — и то опрокидывается.

— Я думаю, Лим, Ада и Сол правы, — Энна Андреевна улыбалась, и теперь было ясно каждому, что настроение у нее хорошее. — А сейчас дадим слово Гри.

Признает ли он свой проступок? Да, признает. Понимает ли он, что причинил беспокойство родителям и Энне Андреевне? Понимает и просит Энну Андреевну извинить его. А перед папой и мамой он извинится дома, но, если ребята настаивают, он может сделать это здесь, в классе.

Гри выждал минуту — никто не настаивал, и он заговорил снова:

— А в школе мне не нравится, и на уроки я ходить не буду.

Едва он произнес эти слова — про школу и уроки, — Ила вскинула руку. Но в этот раз Энна Андреевна не дала ей слова, в этот раз Энна Андреевна сама взяла слово.

— Если Гри, — сказала она, — так упорствует, пойдем ему навстречу, дети: с нынешнего дня Гри освобождается от уроков в классе. С нынешнего дня он будет учиться на седьмом этаже, в отдельной комнате.

И дети вспомнили загадочный седьмой этаж, и мальчиков, сидящих там в одиночестве среди электронных машин, и пустовавшую в начале года последнюю комнату — ту самую, о которой Энна Андреевна тогда говорила: «Из нашего класса, я уверена, сюда никто не попадет».

— Но, — Энна Андреевна сделала паузу, — когда Гри настоящему исправится и захочет снова вернуться к нам, мы всегда найдем для него место.

Через четверть часа Гри и его папу лифт поднял на седьмой этаж. Здесь их встретил старик с белыми, как шерсть оленя-альбиноса, волосами и синими глазами, такими синими, что они казались кусочками неба, имеющими форму человеческих глаз.

— О, Дин Григорьевич, — воскликнул радостно старик, — я безмерно счастлив видеть вас. А это кто? Ваш сын? Рад познакомиться, молодой человек: я — Гор Максович. А вы... Гри? Григорий, стало быть, Динович. Рад, безмерно рад, Григорий Динович, приветствовать вас в здешних эмпиреях. Ну те-ка, пройдемте в свой кабинетик.

Старик все время улыбался. И, самое непонятное, Гри тоже почему-то хотелось улыбаться, даже не улыбаться, а смеяться — до колик под ложечкой, как будто возишься на траве с собакой, которая нет-нет да лизнет тебя щекотно то за ухом, то в нос, то в губы. Папа тоже улыбался, но только вначале, а потом, когда Гор Максович заговорил о каком-то их общем знакомом со странным именем Элу Большой, папа перестал улыбаться. Он только кивал головой и щурил изредка глаза. Этот папин прищур Гри хорошо знал — он появлялся всегда, когда папа бывал недоволен собой.

— О, вы преувеличиваете, Дин Григорьевич, — заторопился вдруг старик, — Элу Большой великолепен, и вы, конструктор, можете им гордиться. Но эмоциональный анализ тестов дается ему, скажем откровенно, на троечку с плюсом.

Папа вздохнул:

— Вы чересчур снисходительны, Гор Максович: тройка с минусом — красная цена ему.

Гор Максович отчаянно запротестовал и в поисках подкрепления сослался на то далекое время, когда уважаемый Дин Григорьевич, тогда еще в возрасте своего сына Гри, сидел в этой же, куда они сейчас прибыли, комнате и неис-

тово доказывал, что электронный учитель-2, или, как назы его все, Элу-двоечник, завышает оценки.

— О, — поднял палец старик, — самокритичность, Дин Григорьевич, — да, но самобичевание — нет. Нет!

Гри остановился у стола посреди комнаты. Папа у окна.

— Садись, — приказал Гор Максович, кладя Гри на голову руку. — Расскажи, как ты провел вчерашний свой день. Сначала расскажи устно, а потом письменно — на этих вот бумаженциях.

— А кому рассказывать? — спросил Гри.

— Никому, — поднял старик плечи. — Если, конечно, не считать, что ты сам можешь быть своим слушателем. Отец, наверное, рассказывал тебе фаблю о старичке чудачке, который разговаривал с самим собой на улице. «Папаша, — обратился к старичку один заботливый юноша, — что это вы сами с собою разговариваете?» — «Э, юноша, — ответил ему старичок, — приятно, знаете, поговорить с умным человеком». Ну, за работу, Гри, — неожиданно строго приказал Гор Максович.

Папа и Гор Максович вышли — Гри остался один. Сначала его занимали мысли о веселом старичке, потом о папе, который, оказывается, придумал эту машину — Элу Большого, потом о собрании в классе, о разбитом хрустальном бокале и, наконец, о вчерашнем утре, когда было так же много солнца, как нынче. Гри щелкнул языком, пытаясь воспроизвести голос Део, но получилось не очень похоже, потому что не было скрипа — жесткого скрипа туго отворяющейся двери.

Теперь Гри готов был приступить к заданию, но что-то нелепое было в том, что надо рассказывать себе о себе же. В самом деле, что мог он рассказать себе такое, чего бы прежде не знал? Ведь это сам он все видел, сам он все

слышал, передумал и дважды уже пересказал — сначала папе, потом ребятам в классе.

В комнате было очень тихо, и здешнюю тишину можно было слушать, как ту, которая была в роще. Гри прислушался — в Элу Большом что-то монотонно потрескивало и через каждые пятнадцать секунд щелкало, вроде резак отсекал пересохшую хитиновую пленку. Потом раздался всплеск, и Элу Большой затцикал — точь-в-точь как восхищенный Део, Гри рассмеялся и сказал Элу Большому, что тцикать он умеет, а вот разговаривать с ним, как с Део, все равно нельзя. Део можно даже рассказать про вчерашний день, и он бы наверняка все понял — и глаза у него стали бы веселые, и трещал бы он в своем дельфиньем восторге, как зуммер, который забыли отключить.

— Тц! Тц! Зз-зз-з! — затрещал Элу.

— Ну, хорошо, — сказал примирительно Гри, — все равно ведь надо рассказывать кому-нибудь, а кроме тебя, здесь никому меня слушать.

И Гри снова рассказал про удивительный вчерашний день и ни разу при этом не запнулся — ни разу до того самого места, когда вдруг ни с того ни с сего показалось очень важным установить, куда же именно жалит церцерис свою жертву. «Если в надкрылья, то, наверное, ничего не получится, — рассуждал вслух Гри, — потому что они хитиновые. Значит, в мягкое какое-нибудь место. Но откуда оса знает, что именно в мягкое место надо?»

Отвратительное беспокойство насадало на Гри с устрашающей быстротой: сначала Гри прислонился к окну — внизу, в школьном саду, играли дети, — потом стал шагать по комнате, потом привязался к Элу Большому, требуя от него ответа, и в конце концов обозвал его болваном и вдобавок хлопнул еще ладонью по зеленому глазу.

Элу молчал, но почти одновременно с ударом, который

нанес ему Гри, отворилась дверь — вошли Гор Максович и папа.

— Что же это вы, Григорий Динович, — всплеснул руками старик, — прямо как йети необразованный: не получается — так срываете свой гнев на том, что подвернется под руку. Согласитесь, Григорий Динович, так нельзя: Элу этого не заслужил. Вы слышите, как он, бедняга, вздыхает?

Элу Большой вздохнул дважды — сначала долго и тяжело, особенно на вдохе, а потом коротко, с резким выдохом.

Всматриваясь в Гри своими синими, со смешинкой глазами, Гор Максович сказал, что пора заняться письменной работой. В дверях старик еще раз обернулся и, пригрозив пальцем, напомнил: ярость и гневливость не украшают истинного мужа.

Работу Гри закончил к полудню — через два часа с четвертью. Когда пробило двенадцать, Гри удивился — время было другим, с иной протяженностью.

— Как будто вовсе не было времени, — сказал он папе и Гору Максовичу.

— А может, его и на самом деле не было? — спросил старик серьезно, и в нынешний раз Гри показалось, что он нисколько не шутит.

Гор Максович аккуратно сложил листки, исписанные Гри, и торжественно отворил перед ним дверь:

— До тринадцати часов, Григорий Динович, вы свободны. Будь у меня столько времени, я бы первую половину его уделил бассейну, а вторую — завтраку и десятиминутной прогулочке.

— Можно, папа? — неуверенно спросил мальчик.

— Гри, — пожал плечами отец, — здесь распоряжается Гор Максович. И если бы Гор Максович рекомендовал мне отправиться в бассейн, я не стал бы терять попусту время.

Спустя минуту Гри на третьей скорости уже пересекал школьный сад.

— Ну, а теперь послушаем, что же нам скажет Элу Большой. Не слушаем, — поправил сам себя старик, — а посмотрим.

Включив экран, Гор Максович сначала забормотал, потом пустил каскад гм-гм-гм, модулируя его от невнятного хмыканья до безукоризненной артикуляции, и, наконец, произнес трубным голосом электронного информатора:

— Итак, дорогой Дин Григорьевич, за вчерашний день ваш сын выдал двести восемьдесят единиц информации по шкале Розова-Анжу вместо шестидесяти, положенных учебной программой. Это по устному рассказу. А теперь посмотрим, что даст нам письменный вариант. А-га, а-га, а-га... двести сорок. Это без графологического анализа. Подождем минутку, одну минутку... так, еще шестьдесят. Итого, стало быть, триста.

— Да, — Дин Григорьевич торопливо барабанил пальцами по панели, — но совершенно очевидно, что устный рассказ текстуально не уступает письменному и уже хотя бы поэтому содержит больше информации.

— Вот именно, — подхватил старик, — но не в чистом ее, так сказать, обнаженном виде, а в скрытых эмоциональных формах, представленных исключительно в модуляциях голоса и пантомиме. Голосом, глазами, руками человек рассказывает то, что не удалось облечь в слово. А Элу Большой этой информации и не учитывает. Для Элу существует сигнал только в слове. Между самым одаренным мимом и каменной бабой для Элу нет никакой разницы.

Рассекая комнату по диагоналям, Дин Григорьевич всякий раз произвольно останавливался посередине — в том месте, где диагонали расходились. Потом он решительно направился к окну и минут пятнадцать, не отрываясь, смотрел

вниз. В школьном саду играли ребята — они смеялись, они рядились, как сто и двести лет назад, в индейцев, они бежали наперегонки, восторженно визжа при успехе и хмурясь при неудачах. Что мог сказать об этих ребятах Элу Большой? Ничего: по Элу, эти дети не были носителями информации.

Потом вдруг среди играющих в саду ребят появился Гри. Он мчался вприпрыжку, имитируя бег лошади. Дин Григорьевич улыбался. Он думал о том, что информация, которую выдал вчера и сегодня этот мальчик, индуцировала в мозгу у него, отца, мысль-лаvinу. Кто знает, может, именно в ней выкристаллизуется конструкция нового Элу. Об этих мысль-лаvinах впервые заговорил в прошлом веке математик Тьюринг. Он полагал их исключительным свойством одаренных людей. Но, возможно, Тьюринг ошибался? Наверняка ошибался; во всяком случае, временная характеристика этой функции совершенно необходима: дети-то почти всегда мыслят творчески. Тысячи детских «почему», изнуряющих взрослого человека, — это и есть цепная реакция, мысль-лаvinа Тьюринга.

Почему же мы не доверяем детям? Что происходит, когда дети вырастают, с этими их мысль-лаvinами — исчезают они спонтанно или подавляются извне? Альберт Эйнштейн признавался, что он чересчур долго был ребенком. Иными словами, то, что другими решено было уже окончательно и бесповоротно, для него оставалось загадкой. И в этом его первое преимущество: когда все ясно, нет нужды открывать, нет нужды познавать.

Однако где-то ведь надо остановиться — нельзя безоговорочно полагаться на мироощущение детей. Лень, праздность, легкомыслие, пустое фантазерство — это тоже дети. Но что такое, в сущности, лень? Если отбросить всякие нравственные приговоры, то лень — просто-напросто нежелание системы

функционировать в заданном направлении. Но полноценное функционирование — естественное состояние всякой нормальной самоорганизующейся системы. Почему же она сопротивляется? Неужели она инстинктивно оберегает истинное свое «Я», которое надобно раскрыть? Стало быть...

— Странно, — сказал неожиданно вслух Дин Григорьевич.

— Ничего странного, — возразил стоявший рядом с ним человек. — Жил некогда в Ясной Поляне удивительный старик. Впрочем, тогда он еще не был стариком. И написал он, человечище этот, забавную статейку: «Кто у кого учится?» И доказывалось в этой статейке, что мы — опытные и всеведущие — учимся у детей.

— Да, — рассмеялся Дин Григорьевич, — во всяком случае, наиболее разумные из варварского племени взрослых. Но кто может указать подлинные границы истины? Самое трудное — вовремя остановиться. Прежде людям это не слишком удавалось. А теперь? Я знаю, вы видите Гри уже здесь, у себя, но...

— Короче, — внезапно прервал его Гор Максович, — мой старомодный дед определял такие ситуации яснее: и хочется, и колется. Гри должен остаться здесь, на седьмом, по классу спецпрограммы — десять лет за семь плюс зеленая дорога спонтанным влечениям. Но его отец боится... ммм... промаха. С одной стороны, он не решается потворствовать склонностям своего сына, с другой — не решается им противодействовать.

— Да, — кивнул Дин Григорьевич, — ваш старомодный дед прав. У меня нет уверенности, что незаурядная наблюдательность и впечатлительность — это и есть истинный Гри. Через три года — что три! — через год все это может улетучиться без следа. А память о недавней твоей исключительности — нелегкая память.

— Превосходно, превосходно, — воскликнул старик, —

а позвольте узнать, чей же удел может предвосхитить ваш Элу? Чьей судьбой он вправе распорядиться? Всякой, только не вашего сына! Так? Извольте ответить: так? И вообще на кой, собственно, черт тогда ваш мудрый Элу!

— В том-то и беда, — вздохнул Дин Григорьевич, — что мудрости у него не больше, чем у нас с вами... Школьная система во все века — оговорки не меняли дела — основывалась на абсурдной аксиоме: человек стандартен по существу своему. Дифференциация же, за редчайшими исключениями, оказывалась уделом лишь будущего, когда воспоминания о школе были уже, как воспоминания о первой любви, красочны, элегичны и бесполезны. Но ведь и Элу видит только прошлое и настоящее, да и то лишь уголком глаза. А греческие мойры и римские парки, — расхохотался Дин Григорьевич, — по-прежнему запирают нас на замок, ключи же забрасывают в будущее.

— И это все? — сухо спросил старик. — Значит, сперва сыщем ключи, а потом и решим, как быть нам с сыном единокровным?

— Не гневайтесь, дорогой учитель...

— Не валяйте дурака, Дин. И не забывайте, что между этими двумя предметами — замком и ключом — иногда лежит целая человеческая жизнь.

— И потому, — радостно подхватил Дин, — да здравствует отмычка! Но вспомните Гана Брунова — вундеркинда, который в семь лет забавлялся интегралами, а в двадцать оказался заурядным программистом с незаурядным самоменением, чуть не приведшим его к самоубийству.

— Отлично, — миролюбиво заговорил старик, — вы обещаете Гри от душевной драмы, возможность которой железно предусматривается теорией вероятностей и вашим житейским опытом. А каково придется взрослому человеку, который вдруг обнаружит, что по вине отца и школы он сделал

вдесятеро меньше того, что мог сделать? Заметьте, я ничего не говорю об интересах общества, которому нужны не заколдованные хранилища энергии, а действующие установки.

Стремительно повернувшись, Дин Григорьевич поднял руку, будто намеревался нанести удар чему-то невидимому, что стояло между ним и стариком, но вдруг зажужжал зуммер, нетерпеливо, настойчиво — и в раскрывшуюся дверь влетел Гри. Лицо его было пунцовым, и мутные струйки пота, выброшенные виссчными родниками, торопливо сбегали к подбородку.

— Папа, — закричал он, — а угадай, кто первым пришел к финишу? Я, я! И все, кто был в бассейне, удивлялись и спрашивали, когда это я научился так плавать.

— Все, кто был?

— Все!

— А может, не все? Трудно ведь сразу всех увидеть и услышать.

— Нет, папа, все.

— Ну, что вы об этом скажете, Гор Максович? Встречали вы когда-нибудь такого отчаянного хвастуна? И учтите, еще каких-нибудь три месяца назад этот человек обвинил своих товарищей в бахвальстве, которое протго синоним глупости. Гри, расскажи эту историю Гору Максовичу.

— Папа, но я же не хвастаю. Это было на самом деле: все удивлялись и спрашивали.

— Еще бы, — сказал Дин Григорьевич, — ведь бахвалы всевидящи и всеслышащи: у них четыре глаза и четыре уха — по числу сторон света.

Гри опустил голову и стоял так, с опущенной головой, пока Гор Максович не приказал ему занять рабочее место. А потом, еще до того, как Гри взялся за уроки, Гор Максович вдруг стал вспоминать вслух, каким неумным хвастуном был Дин, отец Гри. Дин Григорьевич делал страшные глаза,

прижимал палец ко рту, хватался за голову, но Гор Максимович был неумолим, а в заключение еще сказал, что дети должны знать о своих отцах только правду.

— Так, Гри? Я правильно говорю?

— Да, — ответил Гри тихо, не подымая головы.

— И тогда, — добавил Гор Максимович, — они будут лучше своих отцов. И в этом смысл прогресса.

На следующий день главный школьный методсовет по рассмотрению предварительных итогов обследования на год исключил Гри из числа учащихся класса общей программы. В тот же день Гри перешел на седьмой этаж, под начало Гор Максимовича.

Вечером мама накрыла праздничный стол. Папа был недоволен: не надо, говорил он, это лишнее. Но мама много, очень много смеялась и твердила, что теперь не средневековье, а пуританство и аскетизм уже давно не добродетели. Потом пришли гости. Женщины, как будто сговорившись, повторяли в один голос:

— Это Гри? Я бы не узнала его — как он вырос!

Мама рассказывала о необыкновенных его успехах и всякий раз, оборачиваясь к нему, добавляла:

— Только не задирай носа, Гри!

Когда гости ушли, папа сказал, что лавровый лист — тяжелый лист, и венки из него сломали не одну шею.

— Дин, — голос у мамы был ласковый, с легким укором, как прежде, когда после бокала шампанского, поднятого за успехи Гри, она журила сына и требовала скромности, — Дин, не надо социологии, не надо философии. Я хочу радоваться. Просто радоваться, понимаешь?

— Нет, — рассмеялся папа, — не понимаю. Я как жираф: в понедельник промочил ноги — в пятницу, глядишь, насморк.

Спустя три недели, во вторник, пятнадцатого апреля, Гри

вторично прогулял уроки. Домой он вернулся к трем часам — как положено. Вечером в четверг позвонил Гор Максович — он просил Дина Григорьевича, если возможно, заглянуть в школу.

По пути в школу каждый был занят своим: Гри гадал, рассказал или не рассказал Гор Максович папе о прогуле, а Дин Григорьевич упорно подавлял искушение спросить у сына, не знает ли тот, зачем он, отец, понадобился учителю.

Гор Максович встретил их у дверей и немедленно, прямо с порога провел Дина Григорьевича к столу, на котором распластался огромный лист, испещренный зигзагами.

— Смотрите, друг мой, и удивляйтесь. Я снова вижу Афродиту, рожденную из пены, — шумел он, тыча пальцем в лист, — и только тот, кто слеп, увидит здесь лишь ломаных чреду.

Дин Григорьевич не был слеп, но пеннорожденной Афродиты он все-таки не видел: трехнедельная табель-кривая Гри с десятого дня падала все круче и к шестнадцатому дню стала вовсе отвесной, застряв где-то между сорока и пятьюдесятью единицами — единиц на пятнадцать ниже обычной нормы первоклассника. Но на восемнадцатый день она круто, до отметки триста сорок, взмыла вверх, а вчера — девятнадцатый рабочий день — поднялась еще на тридцать единиц. Семнадцатый день на графике не был обозначен.

— Гор Максович, — вполголоса произнес Дин, — здесь пропущен семнадцатый день.

— Нет, — сказал старик, протянув руку в сторону Гри, — это здесь он пропущен. Где ты был, Гри, во вторник? Вы слышите: в энтомологическом саду. Почему тебе захотелось именно туда? Изумительно, исчерпывающий и в высшей степени оригинальный ответ: не знаю, просто так захотелось. Почему ты не рассказал о прогулке отцу? Ага, понятно:

хотел огорчать его. А теперь, Гри, выйди и погуляй четверть часа.

Едва в конце коридора утихли шаги Гри, декламаторский зуд остановил Гора Максовича. С минуту оба они — и старик и Дин Григорьевич — молчали, а потом старик подошел к Элу Большому, положил ладонь на его зеленый глаз и сказал:

— Эти слова не для него, но, право, я без колебаний признал бы его гением педагогики, если бы он с упреждением хотя бы в одну-две недели отыскивал пути активизации информационного потока у моих школяров. Почему Гри захотелось именно в энтомологический сад? Почему только на семнадцатый день, хотя кривая начала откровенно падать с десятого дня? Почему?

— Не знаю, ничего не знаю, — шептал Дин Григорьевич, — симптомы есть, но прогнозов нет. Элу — просто бездарный констататор. И чтобы понять это, мне понадобился сын, мой собственный сын. Интуиция вела Гри. Но как долго она будет служить ему? Элу показывает меру его одаренности. Но я должен знать меру устойчивости этой одаренности, иначе — она призрак... призрак, который может раствориться в первых же лучах рассвета.

— Нет, Дин, не то, — воскликнул старик, — исследователь не вправе ставить так вопрос — «все — или ничего». И как бы вам ни хотелось узнать тысячепроцентно гарантированное будущее уже сегодня, ничего не получится. Может быть, это достанется вашему сыну, а может, только его правнуку. Но если ваш новый Элу заглянет на неделю, на месяц вперед, мы двинемся втрое быстрее и увереннее.

«Втрое быстрее и увереннее», — машинально повторил Дин Григорьевич, досматривая картину, которая возникла перед ним еще до того, как старик обрушился на него с упреками и разоблачениями. Уже с месяц она неотступно пре-

следовала его, эта картина: автомобиль идет на огромной скорости по солончаку, и фары его высвечивают солончак перед машиной метров на двести, а дальше, до горизонта, — сплошная темень. Ему нестерпимо хочется увеличить скорость, но чтобы увеличить скорость, надо увидеть всю дорогу — до горизонта.

Но как, как может он увидеть ее всю? И под силу ли это человеку вообще? А что, если мойры и парки — вовсе не гениальное прозрение человеческой интуиции, а всего лишь заманчивый и удобный поэтический образ?

Хорошо, допустим, так, допустим, невозможно просмотреть дорогу в деталях, но хотя бы направление определить возможно! Ведь работа системы во времени — это и есть направление. Но что он, собственно, знает о системе, которая называется Гри, о системах, которые под миллиардами имен прыгают, грустят, валяют дурака сейчас на всех шести континентах!

Когда он сконструировал своего Элу, президент Академии педагогики на годичном собрании объявил, что школа обулась, наконец, в семимильные сапоги. И все аплодировали словам президента, как будто эти самые семимильные сапоги не пылились уже добрых полсотни лет в музеях космонавтики, ядерной физики и даже музеях медицины. И никто не вспомнил при этом, что педагогика по-прежнему сама величает себя наукой, и никто не вспомнил при этом раблезианской аллегии президента Академии наук: когда дети играют в ихтиандров и авиандров, глупо и бесчеловечно разубеждать их — надо подождать, пока они вырастут.

— Удивительно, — сказал вдруг громко Дин Григорьевич, — педагогика, древнейшая человеческая наука, только начинается. А может... Тоска, дедушка Гор.

— Дин, — очень строго, очень сурово произнес старик, — перестань ныть, иначе я выставлю тебя за дверь.

За четверть века ты мог, ты должен был стать мужчиной. Когда ты учился, был только Элу-двоечник, а теперь есть Элу Большой. За ним придут Элу Максим, Элу Магнус, Элу Ультрамагнус и...

— ...и в этом смысл прогресса, — Дин Григорьевич улыбнулся, но глаза его оставались грустными. — И все-таки сегодня мне... нам трудно, труднее, может быть, чем четыре с половиной века назад — Коменскому, чем триста лет назад — добрейшему Песталоцци.

— Нет, — воскликнул Гор Максович, — нет...

И в то самое мгновение, когда он сделал шаг, чтобы ухватить своего оппонента за полу куртки, Гри, названивая еще, отворил уже дверь и прямо с порога объявил, что ему надоело слоняться по саду, где тыщу раз останавливают и поучают. Лучше посидеть здесь, с Элу Большим. Почему с Элу? Потому что Элу говорит лишь, что правильно и что неправильно, и никаких внушений не делает.

— Вы слышите, Фома вы, — поднял старик палец, — Элу учит, но не поучает! Сделайте так, чтобы и в постылом ворчуне Горе не было нужды здесь, на седьмом, чтобы Элу Магнус, Элу Великий, вытеснил отсюда всю эту компанию — Элу Большого и старика Гора.

— А время? А... — Дин Григорьевич показал глазами на сына: «А он?»

— Не надо, друг, трагедий! — декламаторский зуд вновь овладел стариком. — Что есть трагедия? Неверие всего лишь, пустое лишь неверие и страх!

Переведя клавиши Элу на оранжевое свечение, Гри выстукивал рассказ на свободную тему — «Жизнь и нразы церцерис-златкоубийцы». Старик включил сигнал «Тихо! Идут занятия!» и занялся своими табель-графиками.

Дин Григорьевич сначала склонился над сыном, а затем, минут через пять, подошел к окну — школьный сад и иг-

ровые площадки были пусты. Только солнца внизу, на земле, было много, фантастически много. И опять, как еще до того, когда старик в первый раз обрушился на него, перед ним возник автомобиль и солончаковая степь, высвеченная фарами метров на двести, не больше. Свет был далеко на горизонте — тонкой дугой он опоясывал землю, а между ним и высвеченным солончаком была сплошная темень.

Педагогика, древнейшая человеческая наука, только начинается.

Видимо, он произнес эти слова вслух. Да, вслух: вот и желтый сигнал загорелся — «Порядок нарушен» — и старик грозит ему пальцем, кивая на красное «Тихо! Идут занятия».

ОБ АВТОРЕ

Аркадий Львович Львов родился в 1927 году под Одессой, детство провел в Одессе, здесь же окончил университет и в настоящее время работает преподавателем в одной из одесских средних школ. Львов пишет почти исключительно о родной Одессе. Его колоритные рассказы «Город солнца», «Ошибка дюка де Ришелье», «Уполномоченный Осавиахи-ма» и др. печатались в «Неделе». В Одесском областном издательстве вышла его книга рассказов «Крах патента».

«Бульвар Целакантус» — первый сборник фантастических рассказов молодого писателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Человек с чужими ру-	
ками	3
Мой старший брат,	
которого не было .	67
Бульвар Целакантус . .	110
Седьмой этаж	128

Товарищи читатели!

Редакция фантастики, приключений и путешествий просит вас присылать краткие отзывы о книгах, а также свои предложения по улучшению их содержания и оформления.

Наш адрес: Москва, А-30, Суцеская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Массовый отдел.

Львов Аркадий Львович
БУЛЬВАР ЦЕЛАКАНТУС. (Повести рассказы)
М., «Мол. гвардия», 1967.
176 с (Б-ка советской фантастики)

Р2

Редактор *А. Лобанова*
Художник *Ю. Соостер*
Художественный редактор *Ю. Позин*
Технический редактор *Л. Коноплева*

Сдано в набор 25/I 1967 г. Подписано к печати 24/VIII 1967 г. А09180 Формат 70×108¹/₃₂.
Лумага типографская № 1. Печ л. 5,5(усл 7,7)
Уч.-изд. л. 7,8 Тираж 65 000 экз Цена 26 коп.
Т. П. 1967 г., № 230. Заказ 148
Типография издательства ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Москва, А-30,
Сущевская, 21.

26 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

